

---

## ПОВЕСТЬ

**Наталья Квасникова**  
(г. Москва)

**ГОРИЗОНТ ЗА КАРНИЗОМ**  
(лирико-психологическая повесть)



*Лауреат премии «Левша» им. Н. С. Лескова за 2011 год.*

*ОТ АВТОРА:*

Я сижу на полу, положив на колени старый альбом с доисторическими фотографиями, по большей части черно-белыми, тусклыми и пожелтевшими от долгих и трудных лет жизни. Не все они закреплены на страницах, многие были просто вложены внутрь и теперь неудержимо скользят на волю, требуя моего внимания, выразительно шурша. Знают — их час настал. Дочь вчера вышла замуж и беспечно упорхнула в теплые края вить ласточкино гнездо. Я уменьшаюсь, ухожу в фон, на второй план и, соответственно, приближаюсь к прошедшему, отсюда, по-видимому, и ностальгический рецидив. Мне поет Мария Каллас, и Земля, недовольно поскрипывая, медленно вращается в обратную сторону.

Не задерживаясь на промелькнувшем эпизоде моего рождения, углубляюсь еще дальше в минус-годы по временной шкале, и вдруг начинаю ощущать, что все это происходило не так давно, всего сколько-то десятков лет назад, а в космическом масштабе и вовсе полкопейки времени прошло...

Мне было нелегко создавать эту повесть. Причин много — участники событий, о которых здесь рассказывается, слишком близкие мне люди, объективной оценке не подлежащие. К тому же большинство из них уже ушли из земной жизни. Прежде, чем вы возьмете на себя труд прочесть предлагаемое вашему вниманию сочинение, я хочу немного прокомментировать характеры тех, кто обитает на этих страницах. Героиня, от имени которой ведется рассказ, на первый взгляд может показаться тяжелым, капризным человеком, притесняющим своих родных. Представьте ребенка, затем юную девушку, с душой тонкой, крайне восприимчивой к реалиям внешнего мира, куда судьба определила ее на жительство. (Я говорю сейчас не о себе, поэтому могу рассуждать вполне свободно). Она остро и чутко впитывает негативные впечатления, которые на протяжении долгих лет изрядно перевешивают по значимости мелкозернистые радости. Постепенно такая личность становится подозрительной и

недоверчивой, то есть с готовностью принимающей очередные трудности и проблемы, которые для нее представляют собой настоящее лицо жизни, но все хорошее оказывается непривычным, пугающим, следовательно, почти невероятным. Лучше отмежеваться, наблюдать со стороны, по возможности, избегать,— кто знает, что там, с изнанки?

Речь идет об очень дорогом, близком и любимом мной человеке — моей бабушке. После всего пережитого характером она отличалась сильным, тяжелым и властным. Вероятно, груз военного времени и изломанной личной судьбы очень повлиял на него. Ладить с ней означало — полностью подчиниться ее догматическому восприятию жизни. Я только в ранние детские годы отчасти удовлетворяла столь жестким требованиям, а в дальнейшем, повзрослев, редко удостоивалась одобрения, как, впрочем, и большинство других наших родственников.

Мне часто бывало жаль бабушку. Однажды четко определив для себя место в социуме, она неуклонно придерживалась его и стремилась заставить всех нас покорно лечь на это Прокрустово ложе. К примеру, в моем детстве произошел печально знаменитый в нашем роду случай, очень характерный для бабушки. Был период, когда большая жестяная банка красной икры продавалась в магазине за пять рублей, и мои молодые родители, удивившись и обрадовавшись, захотели купить ее. Несколько лет подряд этот аппетитный деликатес добывался в нашей стране в таком изобилии, что подешевел и распространился чрезвычайно. (Впрочем, богатство сие скоро иссякло, и статус кво восстановился). Все же бабушка решительно воспротивилась покупке, но мама с папой настаивали, тогда, забрав у них спорные деньги, она прошла в соседний отдел и, торжествуя, вернулась с огромным пакетом пряников — на все пять рублей! Ее поддерживала твердая убежденность, что, независимо от цены, икра существует не для нее, а значит, и не для нас. Никакие аргументы не действовали, и так осталось навсегда. Остальные, то есть мы, внучки, а до того — дочери и зятья,— отчаянно сопротивлялись и порой испытывали тяжкие последствия своего бунта. Некоторые сломались, и судьбы их сложились не так, как им хотелось бы, а в отдельных случаях, даже трагично. Однако столь очевидно красноречивый опыт нимало не поколебал убеждение бабушки в собственной правоте, и, хотя ее влияние на внуков и правнуков оказалось изрядно ограниченным, она во многих случаях неустанно демонстрировала одобрение или жесткое недовольство. В итоге это привело к всеобщей нашей скрытности, каковая тоже, в случае обнаружения, вызывала раздражение и упреки.

Паразитальный, несчастный, тяготеющий к страданию характер!

В 87 лет ей была мучительна сама мысль, что кто-то из ее потомков может добиться жизненных успехов, оказаться незаурядной личностью, стать счастливым; между тем горести и неудачи всех родственников она принимала близко к сердцу и страстно оплакивала. Душа, впитавшая в юном, самом радостном возрасте чрезмерную порцию бед, оказалась неспособной без настороженности и недоверия принимать подарки судьбы.

Не менее откровенно показаны и другие действующие лица этой повести. Мне не хотелось придумывать идеальных и милых героев или прописных злодеев. Все, кого вы здесь встретите, реальные и живые люди с массой недостатков, даже пороков, которые много страдают, но есть у них и радости, и достижения, не всегда ими в полной мере оцененные. Не ценят они и своих несомненных достоинств, как и многие из тех, кто, возможно, уделит толику внимания моей истории.

Годы, прожитые мной, привели меня к выводу, что все люди прекрасны, интересны и удивительны, но не знают об этом или сомневаются в себе, из-за чего часто совершают недостойные их деяния.

Горжусь нашей страной, ее поразительной, уникальной и высокой историей. Меня воспитало время беспримерных подвигов и свершений, несмотря на все его тяжелые несовершенства. Оно, как моя бабушка. Простая мысль, уже общенародная: давно пора начать беречь и развивать лучшие достижения исторических периодов, избавляясь от всего, что успело проявить свою несостоятельность. Остальное, для чего мне не хватило слов, расскажет сама бабушка.

**ГЛАВА ПЕРВАЯ,**  
*она же и последняя, от начала и до конца*  
(далее говорит Нина Яновна)

\* \* \*

Боюсь я. Мой страх не похож на те, прежние, пережитые раньше. Лежу на кровати целые дни и чувствую, что он медленно ворочается внутри. Со мной все мои семьдесят семь лет и постигший меня перелом шейки бедра.

Опять первый месяц весны, как два года назад, когда это случилось. Под утро, помню, завопил телефон, громко, требовательно. Спросонья вскочила я к нему, а нога вдруг поехала, и линолеум показался таким скользким! Лежу и осознаю, что ни встать, ни сесть... Больно почти не было, только нога онемела и чужая стала, непослушная. Реву в испуге и от беспомощности, а кошка вокруг ходит и удивляется, зачем я на полу валяюсь. До сих пор не знаю, как до стола доползла, сумела дочери, Сашке, в Москву позвонить. Где-то она ухитрилась машину санитарную раздобыть, приехала на ней и меня к себе увезла. Маруську мою хвостатую ни в какую санитары в машину брать не хотели, животное, говорили, инфекция в салон попадет... Какой же вред от беленькой кошки, которая и на улицу не выходит? Ну да Сашка их уломала-таки. У нее теперь и дотягиваю... Квартира моя в пригороде, под Подольском осталась, лучшая, что у меня была. Помню, жила в избе на краю Абакана, дверь не запиралась, так я ее старым чулком на ночь к печной заслонке привязывала от страха. Потом в деревянном двухэтажном доме, удобства во дворе. После в кирпичном, где зимой в комнате изо рта пар шел и валенки вместо тапок...

А родом-то мы, то есть — корешки наши, похоже, из многострадального города Ржева, мне туда съездить ни разу так и не пришлось. Мимоходом говорила мамочка, что их семья когда-то имела там собственный дом и большой сад при нем, где было дерево старое, дуплистое, девчонкой маленькой она туда забиралась, себя воображала то белкой, то совой... Хозяин отличался строгой властностью характера, жена, то бишь, — моя бабушка, побаивалась его... Детей вырастили шестерых, пять дочерей и сына. Мамочка была младше всех, кроме брата, и ходила в любимицах отца. Он звал ее всегда Лелей, а остальные — Лелькой... Родители умерли как-то скоро, друг за другом, но успели благополучно выдать замуж трех старших девушек. Четвертая была Зоя, самая несчастная из всего нашего рода, два раза вдовела, на третий развелась.

Замужние дочери распорядились имуществом и двумя младшими детьми. Одна из них забрала к себе сестру Лелю, другая мальчика, еще совсем ребенка, лет десяти.

Мамочку мою, которой не исполнилось и шестнадцати лет, насильно выдали замуж за богатого старика — год шел 1915-й. Не в кино и не в романе, а в жизни. Рассказывала, что сбежала через месяц — от невыносимого отвращения. Через небольшое время вышла за молодого врача Алексея Гончарова, родила сначала Тамару, потом и меня. С ним после революции зарегистрировалась в загсе, но он много пил. Мне был только год, когда ей встретился дорогой, любимый наш папочка, Ян Янович Лапченко, и позвал нас всех к себе. Разводы и браки тогда оформлялись быстро.

Не могу забыть, как мама, за хозяйственными делами, часто пела «У церкви стояла карета», голос ее прерывался, слышался глубокий вздох, борющийся со слезами,— и затем песня следовала дальше... Везде с нами кочевала небольшая репродукция «Неравного брака».

\* \* \*

...О-ой, бабоньки мои женщины, жизнь в голове колыхается как туман рваный! То в просвет воспоминание далекое прямо в душу глянет, остро так, хоть криком изойти. То вокруг посмотрю, себя в сегодняшнем дне прочувствую — и кусаться хочется!

Сперва, как у Сашки поселилась, сразу меня раздражать стало, что внучка Надюха каждое утро матери звонит. Нет, не по причине, что я от этого пробуждаюсь. Нельзя спать, если кто-то в той же комнате на работу собирается.

Но как, не успев продрать глаза, хвататься за телефон, чтобы только поздороваться и спросить о самочувствии! У них, видите ли, давняя такая привычка образовалась... Пару раз звонок запаздывал, но едва я успевала сказать Сашке:

— А твоя-то сегодня о тебе подзабыла! — вдруг, словно мне назло, раздавался надоедливый трезвон. Не понимаю,— от безделья, не иначе! Когда голова от забот пухнет, пустяковыми приветами разбрасываться не станешь...

...Март растаял, я не успела заметить когда. За ним прошел апрель, какой-то особенно дымчатый. Зато жарко разгорелся весенний последыш май, для меня обидно приветливый. Окно видеть не могу. Там птицы, облака и кленовые ветки, светлыми листьями облепленные, голоса людей доносятся и ночью, и днем, а мне постель как тюрьма, ни встать, ни сесть толком, ни повернуться нормально. Дочери завидую, внучке Надьке и правнучке Олесе. Злюсь на них, ругаюсь, они обижаются. Не понимают, какво столько лет бой-бабой проскакать — и вдруг соломенным тюком свалиться, и обездвижить. Простыни стелют, моют, подают,— а ни душа, ни сердце у меня такой жизни не принимают!..

Больше всего — боюсь. Умираю, но смириться не могу. У Сашки моей дурная привычка: сварит кастрюлю супу на неделю — и кормит им, не переставая! Работаю, говорит, некогда разносолы готовить. Устаю, говорит. Ты, мама, твердит, не забывай, что мне, мол, тоже за шестьдесят уже!

Но я вам скажу, бабоньки мои женщины,— кто ей работать велит? Шла бы давно на пенсию, сидела бы рядом, а то язык у меня онемел совсем. Всегда я поговорить любила, теперь целые дни одна, лежу, стенку взглядом ковыряю. Какое? Она мне: жизнь тяжелая, Олеська на художника учится, деньги нужны. Ну дак не замахивались бы на художника, выбрали бы что попроще — и хватало бы! Кто мы такие, чтоб на художников идти? Я всю судьбу в учительницах, и Сашка сама, внучка — до сих пор, хоть инженерный закончила, а тоже преподает! Нет, надо было выделиться, дескать, Олеся рисует хорошо... Мало ли кто хорошо-то рисует... У меня лет пятьдесят назад знакомый был, пел, как Шаляпин. Не пошел в певцы, сын же токаря,— и учил ребятню черчению. Рубил по себе,— и правильно. Умер, правда, в тридцать пять лет,— спился вконец... Старшая моя, Марина, тоже все в актрисы рвалась. Я не дала, высмеяла,— кто ты есть, сказала, чтобы в актрисы... Шапка, говорю, по Сеньке должна быть.

\* \* \*

А вы как думали? В нашем Абакане у нее с первого до последнего класса одни пятерки были,— и что? Медалей прислали всего две — золотую да серебряную. Золотую дали дочке секретаря райкома, а моей искусственно поставили четверку за сочинение — и вручили серебро.

Я-то всего лишь разведенка-учительница! Мне потом литераторша наша шептала, как ей директор велел в Маринкиной писанине синими чернилами на ошибку исправить, чтобы оценку понизить. А моя дуреха: в артистки пойду! Ну и дала я ей жару! Все равно, правда, в Москву поехала, но позже — в инженерный институт поступила, вместе с дочкой секретаря нашего, золотомедальницей, да еще вступительную математику той помогла решить.

Жалко Маринку — тоже рано умерла, в сорок лет. Курила, выпивать стала, нажила болезнь. Олеська портрет ее по фотографии сделала, напротив висит. Когда я одна, все с ней разговариваю и плачу, плачу... Никогда не вижу ее во сне. Сашка часто рассказывает, что снится ей Маринка, а мне — никак.

\* \* \*

Лежу в кровати, вспоминаю лоскутьями свою жизнь, тяжело приходилось,— но умирать боюсь. Чую, все мои сроки уходят. Сашка в церковь иногда бегает, придет, рассказывает, каким иконам свечки поставила, о чем помолилась. Пока я на ногах была, тоже стала приобщаться, а теперь — то верю, Бога прошу меня опять на ноги поставить, а то сомневаться начинаю, бранюсь, что нет, мол, Его,— иначе за что Он меня мучает? Дочь, если слышит, пугается, говорит: не грехи, нам и так нелегко, за тебя еще отвечай. Ей, с ногами-то, чего жаловаться! Астма у ней, правда, задыхается, бывает, хоть не пойму как это,— но ведь ходит! Уйдет в магазин в субботу — и пропала, а я опять жду. Говорит — в очереди стояла, но кто ж ей поверит? Знаю, гуляет без меня, на лавке в сквере сидит или к внучке зайдет. Надька с Олеськой на соседней улице живут. Без толку к ним ходить — и так часто у нас бывают. А по лавкам одной сидеть тоже нечего. Не молоденькая. Купила быстренько, что надо — и домой, с матерью поговорить.

Правда, в последнее время она со мной почти не общается — обида у нее, видите ли! Позвонила моя давняя подруга, еще из Абакана, поведала новости. Соседка моя бывшая, мне ровесница, померла недавно, а на другой же день ее дочь, Сашке одноклассница, следом от инфаркта на тот свет ушла. Так они и лежали рядом, две старухи... Я своей сообщила, да возьми и добавь:

— Вот бы и нам с тобой так же!

Ох, и разобиделась, бабоньки мои женщины! Как ты можешь дочери такое, говорит. А сама-то что ж, не старуха? Всего на двадцать пять лет меня младше. Даже Надюхе уже сорок шесть, толстая стала, краснолицая, хотя красавица была,— да и сейчас еще может, если подкрасится и в парикмахерскую заскочит. Только зачем ей, развелась давно, ни мужа, ни, кажется, любовника. Хлопочет вокруг своей Олеськи, ничего больше знать не хочет, насадка.

В Москве моя дочь больше тридцати лет. Она семью в столицу перетащила, когда Надюхе только минуло шестнадцать. Это была Сашкина заветная мечта, над которой мы все, по правде сказать, тогда посмеивались, нереально, мол. Зато моя внучка свой последний школьный год здесь отучилась, институт окончила, замужем побывала. С экскурсии по Золотому кольцу приволокла в дом костромича.

Началось, вроде, как у людей: свадьба, своя комната в коммунальной квартире, работа, ребенок. Потом будто стужа какая-то появилась, без видимых причин... Попробуй, разберись в семейном-то деле!

...Вспоминаю их развод. Как честный человек, поделил он все нажитое в семье добро поровну: новую дачу и зеленый «Запорожец» себе, дочь Олеську — Надюхе. Мои недотепы так растерялись, что с тем и остались! Сумели, однако, справиться,— через два года себе новую дачку сообразили, правда, поменьше, недалеко от моей квартиры под Подольском,— ту самую, где теперь Сашка от меня отдыхает.

Не понравилось мне тогда, что они купили ее, я даже смотреть долго не ходила. Казалось, где-то нарушилось равновесие — типичные белорукие горожанки, а к земле прибиваются. Никак привыкнуть не могла, но любопытство мучило, как там все устраивается, мол... Пришла однажды, да увлеклась, вдруг захотелось похозяйствовать. Не понимают ведь, что надо, напихали полную землю коллочек всяких, деньги без толку тратили на сорта дорогие. Я засучила рукава, накопала дикой малины да ежевики и заняла всю оставленную под кусты землю. Та же ягода, но бесплатно. Заняли: плоды мелкие, урожай маленький! Ничего, сколько есть, столько и хватит вам, не принцессы. Теперь дорвались, наверно, мое повыдергали, сортов разных насажали. Не сознаются, однако!

Калину я им вырастила, еще при мне большая стала и на ягоды щедрая.

Правду сказать, из всех моих посадок она одна такой хорошей оказалась. Завещала им на память о себе. Рассказывали, будто, как свалилась я снопом, болела калина целый год. Сейчас вроде выровнялась. Привозили плоды, морс делали, — да пить обидно, вспоминается, как сама за ней ходила, и сердце щемит!

\* \* \*

...Сколько раз я возвращалась памятью в тот ужасный день, который приковал меня к постели, да еще и к чужой! К чужой, — потому не у себя приходится лежать и не чувствую я здесь дома, и завишу от других. Ох, не приведи, Господь, никому так-то доживать...

Маруся тоже бродит по квартире, места себе не найдет. Да еще у Сашки свой кот, старый, ревнивый и злой. Гоняет он мою отовсюду: и с дивана, и с кресла, только на кровати, где я лежу, ей спокойно. А для меня это — лишнее горькое напоминание, не у себя, мол...

Боюсь я... Два года жду, не знаю чего, а хочу домой вернуться. Дочь время от времени начинает говорить:

— Попробуй, мама, потихоньку вставать.

Да не могу. Ноги ослабели совсем, даже здоровая едва двигается. Раньше не решилась, теперь и подавно. Вдруг опять упаду? Нет уж. Бог бы чудом на ноги поставил — другое дело.

Эх, вернулись бы мы с Маруськой домой! Гуляла бы я много... Во сне часто вижу, как встаю и иду — то на почту, то в магазин, то на огород. Только ног никогда не чувствую при этом.

Наяву читаю книги. Тоже раздражает, — никогда столько времени на них не тратила, хотя любила, правда, Лескова, Шишкова, Астафьева...

...Но часто отвлекаюсь и вспоминаю жизнь, какая б ни была, а моя...

Иногда задумаюсь так, что не замечу, как вечер пришел, — будто заново далекие годы перестрадала.

\* \* \*

...Опять с окна яркое солнце бьет. Я полусижу в своей постели к нему спиной, а оно — большими пятнами по стенам и потолку, не дает покоя, уносит в детство. Год 1930-й, мне лет семь, разезд Дагомыс около Сочи — ни полустанка, ни платформы какой-никакой... Спрыгнули-заскочили почти на ходу и — вперед.

Бабоньки мои женщины, не знаю своего точного возраста, сумбурно и трудно было, часто с места снимались, переезжали, метрики потеряли, даже мамочка забыла точные даты наших рождений. Говорила потом, что родила меня летом, числа, мол, не знает, а год двадцать второй, и тот под сомнением. В итоге записана я вообще на январь двадцать первого, с тем и живу, с того рубежа отсчет веду.

Было нас у родителей на тот момент две дочки: Тамара, постарше, да я, Нинка, поменьше. Через разъезд с большими интервалами ходили матрицы — небольшие локомотивы, единственный доступный вид транспорта. Помню, место пустынное, дикое, берег Черного моря, узкая извилистая тропка в гору. Долго взбираешься по ней, прежде чем откроется глазам огромное, по моим тогдашним понятиям, строение, говорили, бывшее поместье князя Успенского, отобранное большевиками. Как подросли мы, рассказывал нам отец, что управителем он служил на землях, семейству Николая Второго принадлежавших. После революции там организовали совхоз и работников расселили во множестве комнат, в залах и коридорах, которые представлялись нам, детишкам, настоящими лабиринтами. Папа был учителем, и нашей семье предоставили комнату в пятнадцать метров. Какое это было счастье, бабоньки мои женщины! Большущая кухня — целый город, на первом этаже — для всех. Питались, конечно, скудно, попросить лишний раз — ни-ни!

Бывало, к примеру, так.

Варит мамочка мамалыгу — кашу из кукурузной муки. Мы с сестренкой ходим вокруг, маемся, кушать хотим. Дождались, ура! Папа старательно накладывает кашу в плоскую тарелочку и ложкой проводит посередине борозду — делит нам с Тамарой пополам.

— Иди, Нина, ешь, — мне первой, как младшей.

Сажусь за столик, маленький такой, неудобный — на одного. Горячо! Трогаю ложкой свою порцию, шевелю, чтобы остыла. Глотаю слюну от вкусного духа. Смотрю: на половине сестры застывает пенка. Как захотелось мне вдруг этой густеющей пенки! Но забрать ее с Тамариной каши я не могла! Решила поменяться. Свою кашу, равномерно перемешанную, перекалдываю на сторону сестры, освобождаю место для пенки. Пришел папа, увидел, что моя половина тарелки пуста. Не заметил, как много стало каши на другой стороне.

— Молодец, Нинуля, быстро поела. Ступай играть, я Тамару позову...

Осталась я голодной, постеснялась сказать, что даже не попробовала, только понюхала свой завтрак. До сих пор щемит при воспоминании. А прошло с того дня семьдесят лет! Чего я только не съела за эти годы! Было и повкуснее мамалыги, но как оно всплывет в памяти, первое чувствую — досаду. Потом, правда, смешно делается...

...Сейчас у кровати Сашка оставила мне жареную куриную ножку с гречкой. Завспоминалась, отвлеклась, остыло все уже. Да ничего, под незабываемый детский аппетит хорошо пойдет. Подождите, бабоньки мои женщины, обеденный перерыв у меня...

\* \* \*

...Родители были единственными представителями «интеллигенции» в особняке, куда их занесло, не знаю, каким жизненным ветром. Долгие годы, приезжая к мамочке в гости, намеревалась поспрашивать ее о подробностях, — так и не собралась. Затем Тамару все хотела попытать, может, помнила хоть что-то, старшая же — тоже не получилось. Сашка просит оставить ей заметки о прошлом, да только память будоражит, а руки уж не пишут ничего, дрожат. Все с собой унесу, самой бы успеть перебрать свою судьбу в голове.

На почве «интеллигентности» поначалу сдружилась мамочка с женой директора совхоза, которая подчеркнуто не стремилась общаться с работницами и «выбрала» ее.

— Ольга Николаевна, с Вами, при высшем образовании, можно хотя бы вычленил тему для разумной беседы, — говаривала эта дама.

Приятельские отношения долго не продлились, слишком разные оказались характеры. Мама не чуждалась других людей и не любила чванства. К тому же, бродили смутные слухи, что жена директора собственноручно травит окрестных

собак, раздражавших ее своим голодным воем. Все живое тогда не доедало, не только люди...

...В гущу событий родилась наша третья сестра Майя, весной тридцатого года. Помню, всех нас на время родов выдворили из дома, по глупому своему возрасту не знаю, кто принимал младенца,— штатного доктора в совхозе не было, да и за два года, прожитых там, не слыхала, чтобы кто-то болел. Папа сказал, мол, аиста с ребенком ждем, но не велел об этом больше никому говорить, поэтому, играя в тот день с другими ребятами, я все время таинственно улыбалась — ничего не могла с собой поделатъ. Было по-весеннему прохладно, с моря дул ветер, одежка так себе, но домой нас не пустили, пока не уничтожили все следы.

Новая сестренка показалась игрушечной, хоть шевелилась и пискливо кричала. Нам не разрешили ее трогать и брать на руки, и мы быстро потеряли к ней интерес.

Когда отношения мамы с женой директора разладились окончательно, нам пришлось покинуть поместье и перебраться в заброшенный хуторок, километрах в пяти от прежнего места жительства. Прозывали его «четвертой ротой» — болтали, мол, до революции, квартировали там солдаты Кавказского линейного батальона, — как раз упомянутое подразделение. Нашей семье остались от них избушка с русской печкой, маленький дворик с колодцем. К забору вплотную подступала непроходимая колючая растительность. Мы лазили в ней, по детскому обыкновению, выдумывая игры и развлечения. Башмаков летом не носили, потому у нас часто болели ноги — вылезали нарывы на икрах и ступнях. Думаю, от колючек и несътой жизни. Помнится, мама часто посылала нас, старших, собирать маленькие дикие груши, варила компот, варенье и сушила про запас. Это нас очень выручало в голодные времена.

Все-то мы в жизни пережили, все-то испытали...

Вспоминаю, как Тамара сидит дома и хнычет: у нее в очередной раз нарыв на пятке. Ей очень больно — обычно она очень терпелива. Я сижу рядом, утешаю. Вечером сестра засыпает с трудом, боль никак не успокаивается. Ночью все просыпаемся от резкого запаха дыма — пожар! Горит крыша. Мы вскакиваем, похватали ведра и бегаем к колодцу и обратно, папа с лестницы выплескивает воду на огонь. Мама набросила плащ, побежала за помощью к соседнему хутору, был еще один, как наш,— километра три. Тамара, забыв о нарыве, босиком таскала ведра. Оступится, охнет, губу укусит — и опять бежит. Обошлось! Крышу починили, жили дальше.

\* \* \*

После совхоза отец работал в Сочи, в интернате для девочек из таких же хуторских семей, как наша. Тамара подросла, отвезли туда учиться.

Иногда папа брал меня с собой, мы оставались там ночевать. Спальня была — огромный зал. Вместо кроватей стояли двадцать пять деревянных топчанов на крестообразных ножках. Две двери, одна напротив другой, но вторая заставлена тяжелым шкафом — за ней находилась столовая, где хранился хлеб, поэтому туда пускали только на время еды. Я только что основательно пообедала, но, вспоминая ржаной запах, сочившийся из-за шкафа, чувствую, как рот снова наполняется слюной. Как сейчас, вижу полуголодных девчонок, которые вечером, перед сном, невольно подтягиваются к двери в столовую, нюхают воздух. Сейчас это кажется просто невозможным, но мы все тогда остро почувствовали хлеб.

— Девки,— возбужденно говорит Тонька, самая старшая и хулиганистая из нас,— давайте шкаф отодвинем! Жрать хочется — страсть.

— Нельзя,— возражает наша Тамара, так уж мы были воспитаны.

— Да ну тебя! А голодными сидеть можно? — шипит кто-то.

— Мы шкаф все равно не сдвинем, он очень тяжелый,— неуверенно продолжает сестра.

Но всех уже поглотила эта мысль, и они ближе подступают к заветным границам.

— Проверим,— заявляет Тонька, первой хватая шкаф за бока.

Он непоколебим, как стена. Все наваливаемся на него и некоторое время без толку пыхтим. Наконец Тамара замечает, что мы жмем на него с двух противоположных сторон и мешаем друг другу. Исправляем ситуацию,— и шкаф неохотно пропускает нас в столовую.

Запас хлеба оказался невелик,— разделили по ломтю, правда, большому по сравнению с обычными порциями. Меня тоже не обошли, хоть я считалась в гостях...

...Утром в спальню суровыми шагами вошли не улыбающиеся воспитатели и наш папа. Мы забыли поставить шкаф на место — накануне нас так занимала еда, что другие детали события ускользнули от нашего внимания.

— Не могу пожелать вам сегодня доброго утра,— сообщила заведующая интернатом Татьяна Власьевна,— хлеба сегодня нет ни для вас, ни для нас. Будем жить без него три дня — до привоза. А теперь подъем — и на уроки...

...Помню, было страшно стыдно перед папой. Он даже в мелочах соблюдал исключительную честность. А лишнее волнение могло повредить ему, так как он имел порок сердца. Долго ходила я в тот день за ним, тайком поглядывала, не держится ли за грудь, не глотает ли таблетки...

...Ой, бабоньки мои женщины, на улице дождь, а мне и повернуться трудно, чтоб на него посмотреть, на слух погоду различаю. Специально Сашку попросила меня так устроить, чтоб окна не видеть. Все, значит, ходят, живут, а я валяюсь, никому не нужная, по целым дням одна!..

\* \* \*

...Да, голодно жилось на «четвертой роте», и пришлось однажды мамочке достать из сундука черное кашемировое платье вместе с корсетом, единственное ее сокровище. Я даже и не знаю, когда и куда она его надевала, разве в праздник еще в особняке. Посмотрела она на него долгим взглядом, полным недоступных для нас, детей, воспоминаний и сдержанно сказала папе:

— Все, можешь его продать. Теперь не забуду.

На рынок в Сочи отправились мы с ним вдвоем, Тамара осталась помогать по дому, Майя была еще мала. Шли пешком, километров двадцать, потому как и с транспортом проблемно, и с деньгами. Дороги тоже толком не имелось: то на холмы взбирались, то продирались через колючие заросли. Больше всего помню высокие кусты мелких диких розочек, белых или темно-красных. Погода не удалась: дождевая морось, порывы сырого и холодного ветра. Долго шли. Папа часто останавливался, большое сердце свое диктовало, приходилось отдыхать.

А мне-то какво! Он отдыхает — я мерзну. Но добрались-таки. Народу, несмотря на ненастье, полно — выходной день. Пристроились в вещевом ряду, под навесом, чтобы платье не испортить. Дорого запрашивать опасались — вдруг не купит никто! Поначалу не подходили к нам, издали поглядят и отправятся по своим делам. Продуктами по голодному времени больше интересовались. Стою, за папин рукав держусь, одежонка сырая — дрогну помаленьку... Да не болели мы тогда по пустякам, не знаю почему.

Подошла немолодая особа, на мой детский взгляд, богато одетая, молча посмотрела, пощупала, поморщилась:

— Сколько?

Папа поспешно назвал цену, теперь уж не вспомню, какую, но покупательницу явно не отпугнул. Лицо ее выразило острый интерес и полускрытую жадность.

— Дорого просите! — сфальшивила она. — Ткань дешевая.

— Настоящий кашемир, — твердо ответил папа, давая понять, что сбавлять не будет.

Наверное, она лучше знала цену нашего товара, так как после первой попытки торговаться больше не стала, к тому же вокруг нас закрутились другие покупательницы. Когда папа передал ей платье, я протянула руку и дотронулась до него — на прощание. До сих пор, кажется, чувствую на пальцах легкую шелковую гладкость ткани...

— Не пачкай, девочка, — брезгливо сказала особа, отстраняя от меня покупку, — руки-то какие грязные...

Ушла. Так мы продали мамино сокровище и отправились в продуктовые ряды. Купили тогда муки, кукурузного масла, сахара, еще чего-то, а напоследок булочки, круглые и сладкие, запомнившиеся мне больше всего. На обратном пути я думала только об этих булочках, как мы есть их будем.

...Пришли, поели, вздохнули...

\* \* \*

...Мамочка тоже перед смертью долго лежала, почти год. Семьдесят восемь лет прожила. Если по паспорту, я теперь ее на целых девять лет старше...

...Опять, глядите, про книгу забыла, задумалась. Книгами меня внучка, Надюха, снабжает, она любительница. Да не все, что читаю, мне нравится: то шрифт мелкий, то заумно, не поймешь. Ругаюсь, — что, мол, с крупными буквами подобрать не можешь? Обижается. Детские сказки, говорит, так-то печатают. Да мне теперь, видать, только книга собственной жизни и интересна. И шрифт крупный, и каждая строка вполне ясна...

...Скоро Сашка придет, опять борщом кормить будет. Надоел уж борщ, рассольничку бы, что ли... Телевизор посмотрим, новости... Вот и день мой весь вышел. Сашка спать рано ложится, а мне куда деваться? Не привыкла я. У себя дома за полночь, бывало, сижу. А тут — кто меня спросит? Свет выключает, а я лежи, да в темноту пялясь. Комната, конечно, одна, дочери — утром на работу; то, что мне рано не уснуть, в расчет не принимается. Ох, нет сил в такой зависимости быть...

...Помоложе-то я вышивать очень уважала. Живем ведь, как деревья, весной все в цветах, каждый цвет — то, что мы любим. Время идет, цветы по одному отмирают, сначала остаются одни листья, затем голые ветки. Я сейчас при голых ветках, и те наполовину сломаны. А любовь к вышиванию дольше всех при мне задержалась. Скатерти, салфетки, накидки, платки, одежда разная сплошь моим рукодельем украшены были. Полный чемодан добра этого от меня остался. Теперь не могу — пальцы плохо гнутся, глаза узора не разбирают. В девяностые годы выходила на Арбат продавать свои работы. Тогда многие пенсионерки рукодельями разными торговали. Помню, как иностранцы у меня вышивки расхватывали, другим на зависть...

Поругались с внучкой и Сашкой из-за коммунистов. Они с Надюхой все о недавнем прошлом вздыхают. А что мы там видали, в социализме-то? Голодушку да работу, а страху натерпелись в тридцатые? И страхом одним не отделались, эх... Но, правду сказать, люди в целом лучше были, не то, как нынче, потому и в войне победили, из пепла в считанные годы отстроились, в космос первые полетели... Нельзя, однако, все время только в лазурную даль глядеть, глаза заслезишь и непременно споткнешься...

Дочь с внучкой мне одно повторяют — «брежневские времена, брежневские времена...». Спору нет, конечно, тогда полегче стало. Утряслось как-то все, угомонилось. Ровненько жизнь потекла, стабильность появилась. Сейчас это называют —

застой. По мне — так лучше тот застой, чем нынешние убийства в подъездах да взрывы в метро... Но я своим этого не скажу. Да и к чему? Мое мнение ничего уже не значит, и не голосовать мне больше. Устала я, бабоньки мои женщины, политику разбирать. Послушаю новости, что там по телевизору наговорят, вроде интересно, поудивляюсь, поужасаюсь, а после одумаюсь — мне разве дело? Сашка попрекает, мол, тебе неважно, как твои внучка с правнучкой будут жить? Ну, разволнуюсь я, что изменится? Они тут остаются, в любом случае, а мне уж конец приходит, и свои у меня страхи, которые им пока не понять...

\* \* \*

...Опять уезжали мы, бросали «четвертую роту», и жалеть не о чем было, жили не сытно, с места любого легко снимались,— скарба никакого, сменную одежку в мешок за плечи, да в путь. Позвала нас в Серпухов мамочкина сестра, тетя Зоя. Одинокая была, тогда в первый раз овдовела. Надолго обосноваться не удалось — работы не было. Папочка искал место в пределах Московской области, не хотели мы тогда уезжать совсем далеко от тети Зои,— и нашел, в совхозе, на окраине города Озеры. Туда и отправилась наша семья. Папа стал работать бухгалтером, мама устроилась в школе — учительницей. Спустя недолгое время ее класс оказался лучшим, в трудовую книжку посыпались благодарности. До сих пор храню этот документ. Надо напомнить Сашке, чтобы привезла из подольской квартиры мою памятную папку.

Школа была трехлетка, как теперь говорят — начальная. Я тоже в ней училась. По трудному времени для нас, детей, выписывали совхозные продукты и обязательно кормили обедом. Еда, конечно, была другая, сейчас и блюд таких нет. Очень я любила и запомнила на всю жизнь горошницу, с аппетитной печеной корочкой, сверху ее заливали теплым молочком. Хоть ложечку бы еще раз во рту подержать!.. Да... А кто его знает, может, и не понравится теперь, столько-то лет спустя да после всяких современных разносолов...

...Поселили нас в деревянном доме на несколько семей. Заедали насекомые, как сейчас помню, летом жильцы расстилали и развешивали матрацы, постели на улице, проветривали, вытряхивали, окуривали, стараясь избавиться от паразитов.

Работал народ, конечно, на совесть, несмотря на все трудности быта, от души строили светлое будущее. Не могу сказать, чтобы очень уж досыта ели. Помню силосную башню, которую заполняли турнепсом, заготавливали на зиму корма для скота. Мы, ребятишки, сделали подкоп, таскали оттуда овощ. Бежишь летом задворками, бывало, за пазухой репу двумя руками придерживаешь и трясешься, чтоб не увидели да не догадались, откель Бог послал... Дома, всем на радость, парили и ели, папе только старались не говорить. Да он, конечно, знал, что овощ сей не с дождем в чугунок просочился, и тоже молчал, и нам, девчонкам, старался побольше подложить. Ох, бабоньки мои женщины, как оно все непросто в жизни!.. Помню, агронома нашего поймали тогда, он четыре свеклы домой нес. Посадили бедолагу,— и с концом... Жена его потом все бочком да сторонкой мимо соседей ходила, глаза боялась поднять. Народ тоже с ней не общался, с их ребятами дружить нас не поощряли. Детей двое было. Помаялась семья с год, а потом уехали они куда-то, говорили, далеко, в северные края...

\* \* \*

— Мама, чаю? — спрашивает Сашка, словно вынырнув из одурманивших меня воспоминаний.

Хочу гордо отказаться,— мы опять недавно поругались,— да уж больно вкусные на вид и запах пирожки с капустой она напекла. Молча полдничаю,— пусть не дума-

ет, что все забыто. Затем отворачиваюсь к стене. Убирая посуду, Сашка в сердцах громко ставит ее в раковину и резко включает воду на кухне. Думаю о том, что с удовольствием проделала бы это сама и, позавидовав ей, опять злюсь.

А поссорились мы опять, потому что рассказывала она, как трудно теперь живется, сплошные проблемы у них, мол. Тут я и скажи: нечего было мужиков своих разгонять, Сашке и Надьке, то есть. Дочь ужасно рассердилась.

— А что ж ты одна полжизни живешь?— закричала она, хлопнула дверью и час целый где-то по улицам ходила.

Пришла потом с готовым тестом и давай стряпать...

Позволяют себе мои, конечно, опять не по чину. Виноград носят, персиков покупают, колбасу разную. Отказываюсь. Всегда ела такое только в гостях или ставила для гостей.

— Лучше приготовь мне тертую свеклу и кусок хлеба,— торжествующе говорю я и с удовлетворением вижу, как расстраивается Сашка,— ишь, как роскошествуете! Не ем деликатесов.

— Мама, это для тебя куплено,— пробует она меня уговорить, но мне сдаваться не приходится.

— И на днях Олеська тоже принесла винограду, разделила пополам, положила мне, а вторую кисть сразу всю съела! Можно ли?!

— На здоровье, это ж твоя правнучка, мама! — недовольна дочь моим выговором, но я отворачиваюсь к стене и накрываюсь с головой одеялом.

Диалог прерван.

...Меня все больше раздражает мое лежачее положение. Я боюсь, но все же иногда возникает острое нетерпение, жажда конца — и некое болезненное любопытство, как оно будет... Нет, лучше не думать...

Сейчас продукты в магазинах имеются, сколько хочешь. Помню только два таких периода — перед самой войной, когда на прилавках стало появляться все больше еды, причем недорогой и отличного качества, да еще — когда Сашка замужем была, и Надохе минуло лет восемь, но оба раза ненадолго. Сперва война помешала, потом — не знаю что. При Брежневе, правда, жилось нормально, хоть и не без дефицита... Может быть, если б не война...

\* \* \*

...А тогда, в Озерах, мы приспособивались, кто как мог. Вдвоем с подругой по ночам чистили картошку в рабочей столовой. Мелкая была, крупную и среднюю сдавали государству. Научились кожуру то-оненько срезать, экономно. В пять часов утра — шабаш. За эту работу нас вместе с рабочими кормили щами. Щи состояли из той же горохообразной картошки и зеленых листьев капусты, широко и лопушисто раскинувшихся в тарелке. Ни мяса, ни жиров каких-нибудь я в них не припоминаю. Затем взрослые отправлялись на работу, а мы спать — речь, конечно, о летнем времени.

Тамара и другие ребята, кто постарше, в том числе школьники, с весны по самый октябрь трудились на парниках. Нарращивали грядки, землю таскали носилками — вот и вся техника. По вечерам продолжала учиться в фабрично-заводском училище, коротко ФЗУ. Были, помнится, у них с мамочкой одни брезентовые туфли на двоих. Придя из школы, мама снимала их, а Тамара наденет — и бежит на занятия.

Тогда мы принимали эту повседневность как норму, жили очень весело, можно сказать, увлеченно. Неудобства воспринимались пустяками, о них никто не задумывался, за пределами быта высокоградусно бурлила деятельная молодая реальность... А сейчас все выглядит смешным, нелепым. Приняли нас в пионеры, организовали мы драмкружок и по выходным показывали житейские сценки, стишки читали, ерунду

всякую... Воображали, что заняты делом. Приходили люди, смотрели, смеялись, даже хлопали... Темный был народ!

Как-то сказала об этом Надюхе,— она так возмутилась! Говорит, мол, всегда были и есть детские представления, самостоятельность, и люди ходят на них не по глупости... Нет, не могу я с ними, что ни говорю, им не угодишь. И мысли, и рассуждения у них какие-то неправильные: ни логики, ни понятия. Купили фрукты — надо немедленно съесть. Помню, привезли мне крымских персиков, еще в Подольск, пока ходячая была. Я положила их в холодильник и ела по одному в день. Да, подпортились, конечно, приходилось темные пятна вырезать, в итоге даже по половинке персика выбрасывала, уже с пушком,— зато растянула удовольствие на полторы недели! Сашка приехала — ругается, пропали, говорит, лучше бы в два дня съела, но хорошие. А я не могу пять персиков враз употребить, не каша, мне душа не позволяет!

\* \* \*

Ой, бабоньки мои женщины, теперь и совсем тяжело. Раньше жила отдельно, безобразия не видела, разве когда погостить приедут. Сядут пить чай — полбанки варенья долой! Я одну ложечку на чашку растягиваю, а у них по ложке на глоток проскакивает! Если конфеты, то по несколько штук. Скажешь — посмеиваются, уговаривают и меня, а мне в горло не идет, как можно? Смотрю на них, душа болит, не понимаю...

...Было мне десять лет. Завела мамочка тесто для пирогов, договорилась со старушкой-соседкой, знавшей земляничные места, чтоб взяла меня по ягоды в лес. Как сейчас помню, шли мы долго, петляли среди деревьев, наконец, открылась нам поляна — красная, мелкокрапчатая скатерть-самобранка. Соседка проворно собирает ягоду, я не отстаю. Быстро наполнили корзинки. Старушка торопилась на рынок, поэтому обратный путь показался короче. Я размечталась, мол, с ней пойду и продам землянику, принесу домой денег, то-то все обрадуются! Рядом с соседкой на рынке не встану, а то покупатели к ней перебегут, у нее корзинка полнее. Отошла подальше. Обступили меня, накидали медяков, в момент от ягоды избавили. Поглядела,— старушка моя все стоит, у нее плохо берут! Ай да я! Бежала домой, брэнчала монетами, гордилась — добытчица, как же!

Ждали меня с нетерпением — тесто уже подошло, пора земляничную начинку класть. Вот и я, с пустыми руками, никчемными медяками. Никто не сказал мне сердитого слова, долго смотрели на меня и молчали горько, разочарованно. Плакала я о несостоявшемся пироге сладком, о походе лесном, о животе пустом...

...Что они в этом понимают, Сашка с Надюхой, да Олеська?..

...Далеко в лес нас одних не пускали, но вдоль опушки каждая осень дробно и густо рассыпала грибы. Помню, как бегали мы собирать их. Там же, будто сторонясь других деревьев, стояла старая береза с обширным стволом. Никогда ее не забуду. Однажды на подходе к лесу встретился нам с подружкой огромный черно-белый бык, в носу кольцо с обрывком веревки, глаза налиты кровью.

Не мычал,— рычал по-львиному, страху нагнал! Заскочили мы на березу, не знаю как. Нагнул бык голову, разбегается и бьет рогами по стволу. Сижу на толстой ветке, трясусь и от ударов, и от ужаса, подружка по соседству пристроилась,— и кричим обе, не переставая! Сколько длилось это, не знаю, но появился совхозный пастух, обложил скотину матерно, этажей в пять, за компанию и нам проценты причисил, далее вцепился в веревку и укротил чудовище, уволок за собой. Сползли мы вниз, а без грибов как уйти? Собираем, оглядываемся, в руках слабость, в ногах неуверенность. Корзинки наши бык растоптал, так мы полные подолы принесли. Несмотря ни на что, удачный день оказался...

\* \* \*

...Вот и доспоминалась — аппетита как не бывало, будто теми грибами-ягодами сыта. Сашка оставила мне сосиски с гречкой и пакет кефира, варево остыло уже, а кефир съворотку выпустил. Кстати, недели две я как-то почти без аппетита существую, клюну пару ложек — вроде и сыта, или вдруг изжога замучает, наверное, оттого, что на улице и жарко, и сухо, днем в комнате яркое солнце все пылинки пересчитывает. Июнь, скоро мои в отпуск пойдут, Олеська на каникулы, будут по очереди меня караулить — и в моем Подольске от меня понедельно отдыхать... Не могу этого терпеть, страшно злюсь,— да еще, вернувшись, рассказывают, как там хорошо. Слушаю, отворачиваюсь, не хочу ничего знать.

А вчера дочь пришла с работы, ходила мимо, все вроде ко мне приглядывалась, да вдруг и говорит:

— Что-то кожа у тебя будто желтая стала... Или кажется мне? Врача не вызвать ли?

Стала я себя рассматривать, даже зеркало взяла — не нахожу.

— Придумываешь ты, Сашка,— отвечаю, а самой не по себе стало, под ложечкой как-то тоскливо засосало... Боюсь я. В то же время устала и хочется покоя, умиротворения, определенности. Страшнее всего врач. А если заберут в больницу?... Кому я, древность почти девяностолетняя, там нужна? Валяться только буду, как ветошь бросовая... Сашке, конечно, облегчение...

Лежу и периодически, тайком от дочери, начинаю себя разглядывать — руки, живот, ноги... Моментами кажется, что кожа приняла несколько горчичный оттенок,— или думается вдруг, с ощущением почти истеричной, даже неестественной радости,— нет, на мои глаза все по-прежнему. Ох, бабоньки мои женщины, не чувствую и не мыслю, наверно, ничего нового на финише своем, чего до меня такие лежачие старики да старухи в головах у себя не перемалывали, да мне-то умирать и необычно, и непривычно, как ни скажи...

\* \* \*

...А сестра Тамара доросла в моих воспоминаниях до шестнадцати лет, красивая стала, черноволосая, черноглазая,— не знаю в кого, даже издали — очень заметная. Весь мужской резерв на нее оборачивался, пока по улице пройдет. Углядел ее и наш директор совхоза, Спицын, разведенный, приехал из Москвы, где осталась его бывшая жена с двумя детьми. Помню, присылал букеты садовых цветов, фрукты килограммами, конфеты. Как-то старомодно ухаживал, больше за родителями, чем за ней. Пришел предложение делать. Наотрез отказали — совсем девчонка, мол, не нравилось, что прежнюю семью оставил, и лет ему — за тридцать перевалило. С другой стороны, может, было б ей счастье, она, вроде, не против была.

От неловкости и надумали опять уехать. Мамочкина давняя подруга жила к этому времени в Новосибирске, письмо прислала — кстати пришлось. Папа велел Тамаре собираться, и, недолго думая, они отправились туда, присмотреться и устроиться. Сначала слали нам оттуда короткие отчеты, некогда было длинные эпистолы строчить. Наконец, месяца через три, позвали нас к себе. Опять мы легко снялись с места, богатство наше за эти годы не стало обременительнее. Помню, колеса поезда доедали последние сотни метров перед вокзалом, мы прилепились к окнам и с любопытством изучали город, где собирались отныне жить.

Взволнованы были до того, что почти не спали предшествующую ночь. Хмурая, бессолнечная погода не порадовала, с первого взгляда Новосибирск показался неприветливым, сердитым и совсем чужим, но папа с Тамарой стояли на платформе, улыбались, махали нам. Сестра выглядела повзрослевшей в незнакомой одежде, но-

вой и неожиданной, еще более красивой. Четырехлетняя толстушка Майя узнала ее не сразу, только тогда, когда собралась уже громко зареветь у нее на руках.

— Скорей, скорей,— весело торопил папа,— стынет праздничный обед в вашу честь! Много, много надо рассказать. Все очень даже неплохо складывается, девчонки мои золотые! Соскучились мы...

...Обед оказался роскошным: уха, жареная рыба с картошкой, пирог с грибами, малиновый компот. Друзья наших родителей были заядлые любители с удочкой посидеть, по лесу с корзиной пройти, места урожайные знали. Позднее мы с Тамарой, случалось, составляли им компанию, даже папочка иногда, несмотря на сердце. Леса там большие, глубокие, в ельнике под ногами мшисто, а как выйдешь на поляну, то ягоде или грибам счету нет. А воздух густой, свежими запахами насыщенный,— хоть пей его, как жидкость, крупными глотками.

Однако нечасто удавалось нам выбраться в такой поход, тем более осенью.

С работой повезло — отцу еще до нашего приезда удалось устроиться на молокозавод зоотехником, а Тамару, успевшую окончить семь классов, охотно приняли учительницей начальной школы. По тем временам, когда еще много было совсем неграмотных людей, расписывавшихся крестиком, она считалась достаточно образованной. Мама тоже продолжила преподавать, причем в той же школе. По вечерам, после двух учебных смен, она занималась ликбезом с рабочими завода горного оборудования. Многие из них были стахановцами, имели трудовые награды,— но приходила учительница, маленькая, худенькая женщина,— и крупные, сильные мужчины самого разного возраста послушно, неуклюже усаживались за неудобные для них столы, пальцами, которые играючи управлялись со станком и инструментом, неловко вырисовывали в тетрадах кривые буквы. Жили работники завода в так называемых каркасных домах, проще говоря — бараках; кроме того, существовало несколько, тоже деревянных, домов по два этажа. Профессия учителя в то время была настолько уважаема и дефицитна, что нам дали в одном из них отдельную квартиру. Отопление, конечно, печное, а дров-то нет.

Как хочешь, выкручивайся. Ходили на железную дорогу уголь разгружать.

Отец и мать — все в работе, Майя еще мала, кому причиталось-то, угадайте. Правильно мыслите, бабоньки мои женщины, Тамара да я были угольщиками. Главное, нам угля пайком давали, но мало, с того и потаскивали топлива, помимо заработанного, впотай...

\* \* \*

— Сашка, дай чаю,— говорю я, отрываясь мыслями от мешка с углем, который только что мы с сестрой волокли по задворкам моих воспоминаний, оттягивая руки.

Дочь включает телевизор, приносит мне чашку и какое-то круглое баловство на блюде — вроде пирожное, оно меня раздражает, язви его совсем... Пахнет шоколадно, вид развратный...

Долго его разглядываю.

— Это очень вкусно,— заметив мое недовольство, поясняет Сашка.

Очень подмывает отказаться, но сегодня почему-то не могу. Сердито ем, действительно, язык можно проглотить.

— Ничего особенного, стоило на чепуху тратиться!— бурчу, допивая чай.— Салат мне, как вчера, лучше сделай, для здоровья полезнее.

— Салат салатом, но тебе ж чай с чем-то надо пить! — возражает дочь.

...По телевизору показывают любовную парочку стариков, обоим за 75, а туда же — недавно поженились! Эх их угораздило! Сидят в обнимку, похохатывают...

— Вот молодцы,— тихо, себе самой, говорит дочь.

А дед-жених вдруг и заявляет,— мол, в их возрасте жизнь только начинается!

Они встают и танцуют вальс. Меня начинает тошнить от съеденного пирожного, от слащавых стариков-молодоженов, от собственной отечной полумертвой ноги, от накопившего под кадык страха...

— Для некоторых жизнь всегда начинается до тех пор, пока не закончится,— раздраженно сообщаю я, и Сашка, поджав губы, уходит мыть посуду...

Знаю, она считает, что ей со мной тяжело. Кто на моем месте не был, не поймет, дело известное. Матрац, весь излеженный, каждым ребром прощупанный, кожей прочувствованный, сбился в тугие комья, твердые, как камни,— а ведь уже третий или четвертый за это время.

\* \* \*

За окном темно, как в чернильнице. Отвернувшись к стене, лежу, изнемогая от тоски. Душа никак не принимает этого ощущения и снова возвращает меня в прошлое. Там — еще темное, раннее утро, дома холодно и мама встала затопить печку. Я свернулась калачиком в постели, смотрю, как начинают колыхаться на стенах отсветы огня, и жду. Наконец тепло кругами расходится по комнате и добирается до меня. С наслаждением потягиваюсь и опять сплю...

Училась я в тот год в шестом классе, помню, любила математику, удивлялась, как можно считать эти уроки нудными да скучными,— вот и преподавала ее всю жизнь.

В Сибири обосновались мы надолго. Жилось, конечно, трудно, случалось, не хватало денег даже на проезд, и папочка шел с работы пешком километров восемь.

Однажды купили на последние деньги билеты в клуб — показывали фильм «Собор Парижской Богоматери», тот самый, черно-белый, с Джиной Лоллобриджидой в главной роли. ...Теперь уж давно я его не видела, да... Пришли все домой, сели, ждем отца, знаем, что пешком идет, волнуемся!.. Время к началу сеанса, а его все нет. Вдруг, наконец, входит, а в руках у него ржаной хлеб кирпичиком и сверток. Оказалось,— паштет из свиной печени. А буханки тогда в два раза больше были, не то, как теперь. Отхватили каждому по ломтю, паштетом мазнули — и в кино, жуя на ходу. Представляете,— успели! Сколько радости, сколько потом бурных обсуждений и девичьих слез о судьбе героев!

...Помню, копила Тамара деньги на новое пальто, долго собирала, несколько месяцев. Наступил торжественный день, когда они с подругой взяли свои сбережения и отправились на базар за покупками. Вернулись как-то скоро, с пустыми руками,— и давай рыдать... Деньги у них вытащили, пока девчонки, разинув рты, ходили по рядам, выбирая товар. Во все времена жулья хватало...

Тамара стала еще красивее, яркая, черненькая, как киношная цыганочка. Соседи наши имели двух сыновей, Бориса да Виктора, год разницы в возрасте. Старший, Борис, начинал за Тамарой ухаживать,— не так, как это делается теперь, а бережно, трогательно, целомудренно. Бегу, помню, из школы, зима, морозище, а они стоят у крыльца, не торопятся, за руки держатся и молчат. Смущались, увидев меня, и сразу распрощались.

Учились братья в ту пору в медицинском институте, дипломы получили перед самой войной. Старший успел даже два года в поликлинике отработать. Тамара провожала Бориса на фронт, его как врача призвали,— ох, и плакала она, боялась! — и не зря: сожжен был он заживо немцами в сорок втором году вместе с передвижным госпиталем, когда отказался раненых покинуть. Виктор, слава Богу, вернулся, даже с двумя орденами, много лет работал потом хирургом в одной из больниц Новосибирска...

Но все это позже; а пока в памяти моей на первом плане год тридцать шестой.

Живем тяжело, голодно,— и вот Управление народного образования Западной Сибири объявляет набор учителей в отдаленные, разбросанные в тайге поселки. Обещают на каждого члена семьи подъемные, бесплатный проезд до места назначения, жилье... И, как всегда,— надежда на лучшее.

Мы решали недолго, опять связали в узлы нехитрый скарб — и в путь. Тамару отправили на самолете, сами на перекладных — поездом до Бийска, дальше вдоль тайги,— то на лошадях, то пешком, осень, под ногами чавкает грязь, из которой с трудом вытягиваешь сапоги... Все вверх и вверх, на восемь километров тянется длинная гора Разлом, до Спасска, где помещалось Алтайское управление золотопромышленности,— не знаю, как там сейчас.

Когда мы добрались, Тамару уже не застали, нам передали от нее письмо. Она была направлена в поселок Чулту, учительницей начальных классов.

Родителей распределили в школу на прииске Карон, папу — заведующим, маму — преподавать. Шестилетняя Майя поехала с ними, а меня оставили в интернате Спасска, где я, два года спустя, окончила восьмилетку. Своеобразное было место — вокруг тайга, глушь, зимой темнело скоро. Младших ребят спать укладывали рано, а мы, старшеклассники, устраивались в столовой учить уроки. Вдоль длинных деревянных столов тянулись скамьи, в углу стоял титан с кипятком. Сидишь, зубришь немецкие слова, соскучишься, глянешь в непроницаемое окно, точно вечеру в очи,— кажется, и нет нигде городов с фонарями на улицах, везде только снег, вековые елки да кедрсы... Вдруг вскочит подружка:

— Давайте чай пить! У кого что есть — доставайте.

Все сразу оживятся, загомонят, выкладывают из карманов — кто сахар, кто хлеб, кто пряник, даже луковицу. Нарочно для вечера приберегали. Мигот отступит чувство потерянности и одиночества. Алюминиевые кружки похватаем с подносов, где сушились они вверх дном, жуем, горячей водой прихлебываем — вкусно! Сахар на тряпицу сыпали горкой, макали в него хлеб. Разговоры, обсуждения, смех.

А хорошо как! Теперь вспомнишь,— только вздохнешь...

По субботам собирались толпой после уроков и весело, бодро шли пешком домой по просеке, проложенной продуктовыми обозами. Зимой дорожка была особенно узкой. Идем, впереди лошади, через седла перекинуты вьюки с мукой, сопровождающие мужики — пешком. Если два встречных обоза, то останавливались, расспрашивали, куда кто направляется, какие новости. Лошадей под уздцы отводили в сугробы, они там купались, валялись в снегу, потом люди помогали друг другу вытащить их на тропу, мирно расходились, никогда ни мата, ни драки. Все с напутствием, добрым словом, с прибаутками да смехом.

А последние годы, вспоминаю, пока я не залегла на постели, по городу было не пройти, чтоб нецензурщины не услышать, причем просто в разговоре, даже без всякой злобы и раздражения... Сашка с Надюхой рассказывали, мол, теперь еще хуже с этим стало, будто нормальную речь напрочь забыли...

Итак, бабоньки мои женщины, топали мы, ребятня, по таежной тропе, и понемногу наша гурьба уменьшалась, по одному, по два сворачивали в ближайшие селенья, домой. Уже вдвоем с подружкой дошли до деревни Соколок, она нетерпеливо махнула мне и убежала. А я, мочи нет, как пить хотела. Ее догонять — от дороги свернуть, путь себе удлинить. Зашла в крайнюю избу, тогда и дверей-то не запирали. Полутемно, окно затянуто еще пузырьком бычьим, без стекла. В углу возится кто-то, не видать.

— Здравствуйте,— говорю,— напиться не дадите?

Вылез откуда-то мальчонка лет восьми, зачерпнул из ведра ковшиком, подает. Пью, не пойму — крошки какие-то в рот лезут...

— Мальчик, мне бы не квасу, просто водички...

— Минька, что ты налил человеку? — раздается невидимый голос.— Какой квас, у нас его сроду нету! Ты ж, сявка, помоями поишь!

Иду дальше, то смеюсь, то реву, от Соколка до нашего Карона, где родители живут, почти двадцать три километра,— так и ходила, силы молодые были, теперь и представить боюсь. Наконец пришла, из трубы дымок, в сенях блинами пахнет... Такое все домашнее,— щемит аж! И в слезы опять, вы, мол, тут блины печете, а я по тайге брожу!..

...Дом выделили папе с мамой бревенчатый, прямо у крохотной школенки, два учителя в ней всего и были. Один одновременно занимался с первым и третьим классами, а другой — со вторым и четвертым. Жить, однако, сытнее стали. Ели картошку с бараниной, а зимой лепили впрок много-много пельменей и морозили, вывешивая их в мешках над крыльцом. Варили и медовуху, только отец не пил из-за большого сердца.

Пожалуй, для семьи год из самых благополучных.

В то время, видно, и заметил нашу Тамару заместитель начальника прииска Чулта, довольно молодой вдовец. Дом его стоял недалеко от школы, где начала работать сестра. Были у него мать и маленькая дочка. Помнится, девочку звали Клава. По роду работы ему приходилось постоянно ездить на карьеры — места золотодобычи, кочевать по тайге, часто по труднопроходимым местам. При такой должности полагалось иметь ружье и, конечно, лошадь. Однажды, вернувшись домой, я увидела знакомую всей тайге кобылку у крыльца. Перед тем, как войти, успела услышать слова папочки:

— Сейчас не прежние времена, Тома сама решает, точнее, уже решила, жених у нее есть, скоро свадьба... Мы ей в этом не указ.

Я вошла, поздоровалась. Втроем с отцом и мамой они сидели за почти нетронутым накрытым столом, недовольные, расстроенные. Мало приятного отказывать в сватовстве одному из главных лиц прииска.

— Ладно, на нет и суда нет, как говорится. До встречи! — увидев меня, гость встал, кивнул мне и быстро вышел, крепко хлопнув дверью. Лошадка умчалась галопом, подчиняясь раздраженному настроению хозяина.

Эпизод некоторое время тревожил нас, особенно мамочку, потом все прошло...

Тогда же, в тридцать седьмом году, в Чулту к Тамаре неожиданно приехала тетя Зоя. Жила она в ту пору в Новосибирске, замужем за летчиком. Мы с ними почему-то все эти годы не общались. Вышла она за него по сумасшедшей любви, очень скоропалительно после первого вдовства, но детей у них долго не было. Родился, наконец, Славка, да тут как тут беда — погиб муж, испытывал что-то и разбился. Повторно оставшись вдовой, тетя Зоя все бросила и приехала к нам с годовалым ребенком. Тамара, которая только что вышла замуж за Бориса, позвала ее жить к себе,— изба у них была попросторней, да и учился он тогда еще в Новосибирске, приезжал домой нечасто. Если во всякие приметы верить, то получается, что вместе со своим горем привезла тетя Зоя несчастья и нам.

\* \* \*

Начинался самый страшный год в нашей жизни, тридцать восьмой. Даже сорок первый, кажется, принес меньше семейных бед.

Тридцать первого декабря, ближе к вечеру, второй раз в жизни заехал к нам в Карон заместитель начальника прииска. Был он веселый, дочку привез, кулек сладостей для Майи и большую редкость — бутылку коньяка.

— Просим к столу,— пригласила мамочка.

— Не в силах отказаться! — с улыбкой возгласил неожиданный гость.

Застолье это было коротким. Первоклассница Майя с удовольствием взялась пово-

зиться с пятилетней Клавой, увела ее с собой. Родители и Тамара с Борисом от коньяка отказались, тетя Зоя, застенчивости ради, немного пригубила, тогда заместитель с удовольствием несколько рюмок употребил сам. Разговор, однако, шел с натугой. Все, кроме папы и, почему-то, меня, разбрелись понемногу, занялись своими делами.

— Я к тебе, Яныч, вот чего заехал,— обратился вдруг заместитель к отцу.— Мне у тебя ружьишко мое сховать надо, ненадолго. В город меня вызывают, дома не хочу оставлять. Недавно мать куда-то вышла, Клавка его, уж не знаю, как, достала, бабку чуть не застрелила, когда та, с улицы, снова в двери образовалась. Ты у нас интеллигент и тихий человек, у тебя сохраннее будет...

Помню, папа очень удивился просьбе, не понравилась она ему.

— У меня нет разрешения на хранение,— ответил он.

— Да я ж на несколько дней только. Вернусь и сразу заберу. Не откажи, Яныч, душа не на месте. Видишь, я зла не помню, к тебе с полным доверием...

— Какого зла? — с недоумением спросил отец.

— Н-ну, Томку ты мне не отдал...

— При чем здесь зло? Дело семейное, личное...

— И я о том же,— скороговоркой забормотал заместитель.— Что ж ответишь? Очень надо. Подержи у себя ружьишко...

— Хорошо, но всего несколько дней.

— На виду не держи! Сам понимаешь...

— Папа стр-рашную сказку сочинил! Пр-ро меня, р-ружье и бабулю! — оглянувшись на нас, по-прежнему сидевших у стола, вдруг крикнула Клава, упирая на трудную для ее произношения букву, засмеялась и захлопала в ладоши.

— Замолчи! В голове звенит! — неожиданно хриплым голосом оборвал гость.

Через полчаса, оставив двустволку в нашем сарае для огородного инвентаря, они уехали верхом на кобылке. Отец озабоченно посмотрел им вслед, пожал плечами, словно сомневаясь в своем решении, махнул рукой и вошел в избу...

...Встретив Новый год, родители уехали на конференцию в Спасск. По молодости своих лет и не помню, по какому поводу она проводилась. Тамара, Борис и тетя Зоя с ребенком вернулись к себе в Чулту. В интернате были каникулы, я отдыхала в родительском доме, где, кроме присмотра за младшей сестрой, очень спокойной и послушной, меня не обременяли никакие заботы.

Вспоминается день, морозно-крепкий, солнечный. Закипает вода для пельменей, мы с сестренкой собираемся обедать. В дверь стучат, и окутанные клубами холодного воздуха, старательно стряхивая с валенок снег, в дом чинно входят наши ребята, агитбригада интерната. Дошли на лыжах, которые теперь густо торчат из сугроба возле крыльца.

— Здравствуй, Нина! — весело, наперебой, говорят ребята.— Мы с праздничным концертом, выступать сюда прибыли.— Чаем напоишь?

— Конечно! — радуюсь я и бегу за пельменями, пока они снимают свои тулупы и шали.

Выяснилось, что запланировано три выступления для рабочих прииска и их детей, ребята должны пробыть здесь до послезавтра, и мы с Майей приглашаем их остановиться у нас.

Выступали они в школе, сами соорудили подобие сцены, кто-то пел, кто-то играл на баяне, танцевали, читали стихи. Мы с сестрой ходили на все представления, а дома угощали артистов пельменями. В последний вечер добрались со старшими и до медовухи.

С утра ребята встали на лыжи и отправились дальше, в Чулту и другие поселки, продолжать свои «гастроли».

Родители вернулись на следующий день. Обнаружив изрядно осунувшийся мешок с пельменями и понизившийся уровень бражки, покачали головами, вздохнули, однако, выслушав наш рассказ, ничего говорить не стали.

Четырнадцатого января я с попутной подводой вернулась в интернат.

Вспоминаю, как два дня спустя зашла после уроков в нашу комнату, присела на кровать...

— Тебе записку принесли,— сообщила подруга.

Нетерпеливо схватив косо оторванный тетрадный листок, я прочла: «Нина, приди срочно в сельсовет. Папа». Обрадовалась, побежала сразу...

Не могу забыть! Как сейчас перед глазами — бревенчатая изба, в глубине большой председательский стол, ближе к двери длинная лавка. На ней сидит папочка с застывшим напряженным лицом. Я сразу не почувствовала неладное, подбежала к нему, взяла за руку, тяну за собой:

— Пойдем, поговорим...

Председатель за столом закричал, завозился, закашлял.

— Не могу,— тихо отвечает отец.— Я арестован...

Меня охватила непонятная мелкая дрожь. Трясусь вся, села перед ним на корточки, держусь за его руки, боюсь отпустить. Он молчит и смотрит, неотрывно и напряженно. Так допоздна и пробыла с ним, спасибо, не гнали.

К вечеру доставили еще человек тридцать, в том числе мужа одной из наших интернатских учительниц, немца по происхождению. Она пришла с ним, но тут нам велели уйти. Арестованных заперли в холодных сенях. На улице мороз, градусов сорок. Мы с учительницей, молча и отчаянно поглядывая друг на друга, до утра просидели в коридоре интерната и, чуть свет, вернулись к сельсовету. Я опять ухватилась за отца, не могу оторваться...

...Подкатил грузовик. Арестованным приказали лезть в кузов, учительница схватилась за голову, начала страшно стонать:

— А-а-а!.. А-а!..

Папа сунул мне в руку какую-то скомканную бумажку:

— Держи, не потеряй! — и забрался в машину.

На другом берегу реки подъехали на санях мама с Тамарой, мечутся, машут руками, кричат:

— Пожалуйста... Подождите!..

Грузовик пошел, я бегу следом изо всех сил, а папочка настойчиво повторяет одно и то же:

— Нина, ты только учишь, не бросай, учишь... У-учи-ись!..

Развернув бумажку, данную отцом, я не сразу поняла, что это тридцать рублей, все, что у него с собой было.

Когда мы, измученные, опустошенные, вернулись домой, мама рассказала мне, как накануне, вечером, пришли за папочкой. Потребовали двустволку. Он сразу принес, объяснил, откуда и почему. А потом выяснилось, что заместитель начальника прииска развел руками, сказал, что ему ничего неизвестно, предъявил другое, очень похожее ружье, которое было при нем.

— Никому я его не давал. Разве можно? — ловко и страшно отбоярился от вопросов этот человек.

Придумал, как отомстить за Тамарин отказ. Долго-долго просыпалась я потом от повторяющегося во мне крика маленькой Клавды:

— ...стр-рашную сказку сочинил!.. сказку... сочинил!..

И от ее коротенького смеха...

Доказательств у нас не нашлось, да и растерялись мы, наверное.

Больше мы папочку никогда не видели. Документ о посмертной реабилитации мне прислали в конце восьмидесятых, уже после того, как не стало мамы. Не дождалась она.

Первые дни мы были как потерянные. Я не слышала учителей, одноклассников, да они и не стремились общаться со мной, обходили стороной...

Вдруг меня вызвали прямо с урока:

— Нина, твою маму увезли в районную больницу. Поезжай!

Не помню, на каких перекладных я добиралась тогда. Приехала,— Тамара была уже там, сама на носях, сидела в коридоре, в палату никого не пускали.

— Маму внезапно парализовало, отнялся язык,— сказала мне сестра.— Она в отдельной палате.

Вышел лечащий врач, вытирая ослепительно белым полотенцем лоб и руки.

Я бросилась к нему, не дожидаясь Тамары, которая, в своем положении, стала очень медлительной.

— Доктор, пожалуйста, как Лапченко?..

— Кто? Больная Лапченко? — немолодой врач со строгими глазами устало посмотрел сначала на мое зареванное и красное, должно быть, лицо, потом на подоспевшую сестру.— Инсульт, но она поправится. Шансы значительные. Имейте в виду — к ней пока нельзя...

...Мама проболела долго. Постепенно к ней вернулись и речь, и движение. Однако несколько снизился слух, и впоследствии не только не восстановился, но постепенно, с годами, глухота стала прогрессировать, что вызывало немалые сложности. Тем не менее, прошло много лет, прежде чем это сделалось настоящей проблемой.

Через месяц после того, как мама попала в больницу, от нас уехала тетя Зоя, сразу после похорон ее маленького сынишки. Пока мы без памяти расхлебывали наши проблемы, ребенок внезапно сильно заболел, женщина, оказавшаяся в этот момент одна, без поддержки родных, бросилась в поселковый медпункт, но фельдшер, покачав головой, велел отправляться в районную больницу. На тот момент ехать было не на чем, и несчастная мать пошла с ребенком на руках пешком. Снег, мороз, таежный проселок... Мальчик умер по дороге. Хоронили его мы втроем — тетя Зоя, Тамарин муж Борис и я. Сестра в это время только родила и еще оставалась в больнице. Вернувшись с кладбища, тетя Зоя вдруг быстро собрала вещи и, не слушая наших уговоров, к вечеру на попутной машине уехала в Новосибирск. Несколько лет после этого мы не имели с ней никакой связи, она не присылала писем, не отвечала нам. Стало казаться, что след ее навсегда утерян...

Интернатскую восьмилетку мне удалось закончить почти с отличием, но последнее полугодие далось трудно, меня презирали, в вечерних посиделках я больше не участвовала. Младшие ребята кричали вслед «дочь врага народа» и другие обидные слова, их почти никто из учителей не останавливал...

Однако наши беды еще не завершились. Едва мама в мае вышла из больницы, ее уволили «по собственному желанию».

— Я только это и могу для вас сделать, Ольга Николаевна,— сказал заведующий Спасским отделом образования.— Поверьте, лучше так, чем... с другой формулировкой... Вы прекрасно работали, мне очень жаль...

— Что ж, и на том спасибо!

\* \* \*

Опять снялись мы с места, и понесло нас, как легкий снег в пургу. На сей раз триста километров вдоль по реке Кондоме, к прииску Сарбала. Ночевать останавливались в аулах, расспрашивали о папочке. Сначала нигде не могли ничего узнать, но

как-то глянули — посреди местных построек русская изба. Постучали туда, приняли нас радушно, как везде. Сразу к столу — традиционно пельменями кормить. Мама и спросила, не видали, не знают ли чего. Хозяйка на минуту задумалась, после говорит:

— Помню, как же, в январе. Их было человек тридцать, один похож, как вы описываете. У нас и останавливались. Да ваш и тулуп свой оставил, сказал, мол, заберите, все одно пропадет... А я-то все голову ломала, как бы семье переправить!..

Тулуп мы узнали сразу — отцовский. Мама схватила, лицом в овчину — и в слезы. Хозяйка долго сидела рядом и молча гладила ее по голове, не мешая плакать.

В Сарбале нам дали маленькую комнатку в бараке. Я начала работать в школе для взрослых по программе ликбеза. В свободное время ездила по окрестным лагерям, искала отца или хотя бы сведений о нем. Ох, тогда пришлось мне узнать, какие разные бывают люди! Но, скажу я вам, бабоньки мои женщины, больше тогда встречалось доброго и честного народу, чем теперь. Сейчас корысть, выгода или равнодушные глаза застыт...

...Помню зону в Сталинске — маленькое окошко, длинная очередь с узелками. Кто плачет тихо, кто отплакался уже, ждет, глядя в одну точку пустыми, сухими глазами. Все старательно не смотрят друг на друга.

Дождалась, подала записку с анкетными данными. Послушала, как шуршат перелистываемые страницы.

— Нет такого, и не было, — скрежетнул мертвящий ответ. — Следующий!

Помню, подошла к самой вышке, где стоял часовой, прижала к груди худые беспомощные кулачки и неожиданно для самой себя закричала:

— Подлецы, паразиты, сво... — захлебнувшись хлынувшими слезами, остановилась. Люди с узелками и прохожие глядели с ужасом.

Ко мне подошел человек в форме майора НКВД, протянул большой носовой платок. Я вытирала лицо, судорожно всхлипывала.

— Пойдемте, девушка, — деревянным голосом сказал он.

Кто-то, проходивший мимо, глянул понимающе, отвернулся, ускорил шаги...

Пришли мы в столовую на вокзале. Майор взял полный обед на одного человека, пристроил меня за столик, молча подал ложку. Я ела пополам со слезами, успокаивалась с трудом. Он терпеливо молчал. После повез на вокзал. Почти ничего не произнося, кроме сухих, отрывочных указаний, купил билет на Сарбалу, усадил в поезд. Резко развернулся и ушел...

...К осени этого мрачного тридцать восьмого года поступила я в педагогическое училище, как сейчас помню — село Кузедеево, райцентр. Первокурсников по традиции отправили на сельхозработы, в деревню Бенжереп... Интересный парень там был, Александр, молодой учитель математики местной школы... Стал, вроде, ухаживать, рассказывал, что у них, мол, хорошо, уговаривал перейти на заочное и остаться работать там в начальных классах. Я согласилась, хоть он и не мне чета, институт за плечами. Оказался — подлец, настоящий кулацкий отпрыск...

Да не перемигивайтесь, бабоньки мои женщины, суть дела не та совсем, что вы, как всегда, по-бабьи, надумали.

С нашего курса в Бенжерепской школе остались мы вдвоем — две девчонки, другая родом из Кузедеева. Поселили нас, отгородив угол, в большой избе, начали мы работать. В короткий период спохватилась я — документов нет никаких, одно свидетельство об окончании Спасского восьмилетнего интерната. Метрик тоже не сохранилось, жизнь складывалась полукочевая — я уж о том вспоминала... Мама, и та не могла точно вспомнить даты моего рождения. Мы тогда не одни такие были. Надумала я получить новые бумаги, взяв скрепя сердце фамилию и отчество никому неизвестного и к тому времени уже давно умершего родного отца, о котором ничего хо-

рошего, кроме плохого, в отличие от любимого папочки-отчима, не знала. Составила заявление о получении документов на имя Гончаровой Нины, умалчивая об аресте, собиралась соответственно выслать... А оно вдруг пропало! Обыскалась, найти не могу, реву... Пришел Александр, позвал нас с подругой в клуб, кино, вроде, смотреть. Умылась, идем. Возле клуба к нам присоединились его приятели, один мне и говорит с усмешкой:

— Мрачная ты какая-то сегодня, Нин... А писателя Гончарова не читала? Хороший писатель, знаешь ли...

Тут и Александр захохотал:

— Верно, отличный автор Гончаров, советую...

Поглядела я на них, все поняла. Повернулась и побежала прямо оттуда к председателю колхоза. Ворвалась в контору, попросила лошадь, кричу:

— Срочно надо!

Не знаю, о чем он подумал, но, видно, в лице у меня такое нарисовалось, что даже не возразил, выдал записку в конюшню, в том числе о санях. На ночь глядя, сгоряча, я выехала одна в Кузедеево, до которого двадцать километров. Снег, еще и еще снег вдоль степи, давящее своей огромностью черное небо, звезды, горстями рассыпанные... Отъехала подальше — глянула, а позади много-много круглых огоньков, они перемещаются, и все по два, по два... Волки! Лошадь всхрапнула коротко, подхватила без дороги, прямо по сугробам, сани только подпрыгивали вверх да вниз... Вцепилась я в край, дерг-дерг, кидает меня из стороны в сторону, зубы стучат, как не вывалилась, не перевернуло по дороге, не знаю... Так и вывезла меня испуганная кобылка в незнакомую маленькую деревню, к крайнему дому.

Стучу в ворота. Вышли люди, один спасительницу мою — под уздцы, распряг, свел в сарай, сена бросил охапку... А второй меня в дом почти внес, — ноги от пережитого страха и от холода тряслись и подгибались. Дали мне тюрки молочной, чаю с медом. Уступили место на теплой печке. Наутро я поехала дальше...

Кузедеевская прокуратура помещалась в новом бревенчатом доме.

Сориентировалась не сразу, пришлось уточнить у прохожих. Вхожу. Длинная комната, простой стол у окна — кабинет прокурора.

— Посадили моего отца, — выпалила я с порога. — Сажайте и меня, я пришла сама...

Прокурор был лет сорока пяти, чуть седоват. Тихо поздоровался. Я растерянно ответила. Посмотрел на зареванное мое лицо, говорит:

— Рассказывай.

Как прорвало меня. Теперь, из нового времени, умозрительно представляю и свой тогдашний вид взъерошенной девчонки с красными от холода, несмотря на только что снятые варежки, руками, и речь, сбивающуюся с одного эпизода на другой... Помню, сообщила даже о пропавшем письме и намерении поменять фамилию.

Он слушал, ни разу не прервал вопросом. Когда я, задохнувшись от нарастающего волнения, остановилась, негромко сказал:

— Если у тебя есть знакомые, давно знающие твоих родителей и тебя, — а такие наверняка найдутся, — поезжай к ним немедленно и возьми у них бумагу об именах отца и матери, а также о времени твоего рождения. Вернешься с этим ко мне — получишь метрики, затем паспорт...

Ободренная, полная надежд, я отправилась на вокзал, чтобы ехать в Новосибирск, — именно там жили люди, способные мне помочь.

С лошадью неожиданно мне повезло, по пути встретила бенжерепского бухгалтера, передала ему спасительницу свою и сани. Он был только рад. О себе не сказала ничего, мол, передайте, что скоро вернусь, — и все.

Ехала почти сутки, адреса толком не знала, но, проблуждав около часа по улицам, вспомнила, как пройти. Когда постучала в дверь, было уже темно, поэтому семья оказалась в сборе. Прошло несколько лет с тех пор, как мы встречались, я опасалась, что мне придется долго объясняться. Однако не пришлось. Открыв на мой робкий и неуверенный стук, мамина давняя подруга несколько тягучих секунд смотрела на меня — и вдруг, ахнув, признала:

— Неужели?.. Ниночка, ты?

— Я...

Припав к плечу тети Лены, рассказывала, всхлипывала, говорила опять... Просила дать подтверждение для получения документов, поведала о болезни мамочки, обо всех обрушившихся на нас бедах.

— Погоди, Нина, сначала поешь с дороги, отдохни и успокойся...

— Кто пришел? Да еще, похоже, слезы льет,— выглянул из комнаты ее муж.

— Представь, Костя, Ниночка Олина приехала... Ее накормить нужно, она с дороги... У них несчастье, им надо помочь...

Конечно, оставили ночевать. День я в волнении ходила из угла в угол, понимая, что дело мое непростое, даже друзьям нелегко решиться оказать нам поддержку. Вечером дядя Костя вернулся с работы, принес уже заверенную справку, в которой подтверждалось, что я дочь моих родителей, и стояла дата рождения — 14 января 1921 года. С тех пор меня это число по жизни и сопровождало, хотя мама потом вспомнила, будто я появилась на свет какого-то августа. Дядя Костя позже сознавался, мол, дату продиктовал просто наобум. Наверно, они долго жили в напряжении после моего отъезда. Слава Богу, с ними ничего не случилось, кроме, конечно, войны, в которой погиб и сам отец семейства, и их старшая дочь, мобилизованная как студентка старшего курса мединститута...

...А на тот момент я бежала на вокзал, крепко обняв свою сумку с драгоценным документом, и вдруг застыла перед зданием с надписью «Совет народных комиссаров». Спустя много-много лет побывала в Новосибирске, узнала дом на Красном проспекте, и память в ярких красках повторила мне этот эпизод...

...Тогда я вошла внутрь и открыла дверь с табличкой «Обком комсомола». За столом девушка почти моих лет что-то пишет.

— Что Вам? Секретарь на заседании,— сообщила она.

— Пожалуйста,— взмолилась я.— Мне очень срочно...

Посмотрев на мое отчаянное лицо, девушка бросила короткое:

— Подождите! — и убежала. Через несколько минут появился парень лет двадцати пяти и сказал:

— Я — секретарь. В чем дело?

Тон его показался сердитым и недовольным, и я опять разревелась.

— Понимаете, меня было приняли в комсомол в интернате, в первичной ячейке, но тут арестовали отца, и райком не утвердил...— и снова все рассказала.

Он молча выслушал, хмурясь, затем взял со стола нетронутый лист бумаги, аккуратным и четким почерком написал несколько строк, подал мне, кивнул,— вроде, мол, до свидания,— и вышел. Смотрю — и читаю: «В райком: ...собрать внеочередное бюро и утвердить...». Внизу — уверенная подпись.

Обратно меня точно крылья несли. Ночью в вагоне не спалось и даже не дремалось, так ярко в душе бурлили чувства,— и чего там только не было: неутраченная горечь об отце, радость от резолюции секретаря обкома, обещание прокурора...

Утром, на вокзале в Кузнецкое, я вспомнила, что настало воскресенье, но решила не сдаваться. В районной комсомольской организации всегда был дежурный.

Я торжественно предъявила ему свою бумагу. Он внимательно прочел, позвал рассыльного, скучавшего в коридоре:

— Саня, срочно собери членов бюро, есть дело.

Да-а, бабоньки мои женщины, телефонов не было,— но ждать мне довелось не больше получаса, все, видимо, жили поблизости. Однако занимались мной основательно, хорошенько погоняли по Уставу, задали много вопросов прежде, чем принять решение...

Вышла я оттуда с билетом, на обложке силуэт головы Ленина. Эта серая книжечка и теперь хранится у меня.

Спасибо этим людям. А дела-то решались быстро, без теперешней бюрократии.

Неподалеку была контора при паспортном столе. Если еще помните, мне нужны были метрики и, увидев, что перед входом очередь, я поняла,— там тоже, несмотря на выходной, кипит бурная деятельность. Пристроившись в конце длинной шеренги ожидающего люда, приуныла,— сколько же придется ждать?

В деревнях, а бывало, и в городах с документами творилась форменная неразбериха. Непросто оказалось навести порядок в этом деле, кроме того, мало было людей, достаточно грамотных, чтобы им доверить заполнение подобных бумаг. Вы, бабоньки мои женщины, наверняка не раз удивлялись несуразным фамилиям типа «Некифаров» вместо «Никифоров»,— вроде по-русски, да не пойми — чего... Оттуда, с тех лет все и повелось. Бывало, как услышится, так и напишется, а потом поколениями живут по привычке с безобразием эдаким, вплоть до нынешних дней. Война, конечно, тоже напортила... Однако, возвращаюсь обратно в очередь. Простояла я в толпе гомонящей минут двадцать. Вдруг выскочила на крыльцо растрепанная и слегка обалдевшая тетка средних лет.

Все притихли, бояться пропустить,— что скажет. А она крикнула:

— Товарищи очередь, грамотные есть?

Я и вызвалась,— учительница, мол. Обрадовалась, замахала мне,— иди, дескать, скорее. Люди расступились уважительно, пропустили.

До позднего вечера выписывала им всякие документы, затем та самая, что помогать звала, справила метрики и для меня. Даже разрешили там, в конторе, переночевать. Понедельничным утром по новеньким бумагам выдали мне паспорт...

Удивительно, до чего бывают удачные дни! Все у меня тогда получилось, и не помню уже как, но вернулась я в Бенжереп полноправной гражданкой с документами. Пришла в школу, пропустив несколько дней без разрешения, ведь уехала в запальчивости, почти в беспомыслии от отчаяния,— а закон мог сурово наказать за самовольное отсутствие на рабочем месте! После первого урока поняла — меня обнаружили: на стене в учительской появилось объявление о совещании. Повестка — мое персональное дело... Как сейчас, помню разгромную пафосную речь бывшего «поклонника» Александра, поминавшего всеу всех моих родных,— и его враз поглупевшее до полной некрасивости лицо, едва я выложила на стол паспорт и комсомольский билет,— не без некоторой театральности, сказать по правде. Против этого факта никто не смог ничего возразить, собрание завершилось само собой... Но, по собственному почину, я недолго оставалась там жить и работать, пусто вдруг сделалось на сердце, словно выдохлось оно.

Ох, тяжелое было время — от гражданской войны чуть-чуть начали в себя приходиться, порядок в стране наводить, тут и финская подоспела.

После истории с подлецом этим, Александром, укравшим мое письмо и дразнившим меня насчет писателя Гончарова, в Бенжерепе ухаживать за мной стал молодой, но важный по тем временам человек — главный бухгалтер колхоза. Уверен был, что я за него выйду — много на него, образованного, охотниц находилось, да он меня

выбрал. Даже, не спросясь, заранее съездил с матерью в город, накупил отрезков тканей и разного добра к свадьбе... Но я расстроила беднягу, решила — рано мне замуж, обстоятельства, к тому еще, заставляли меня опять уехать с насиженного места. Спустя год узнала, что пошел он на финскую войну добровольцем и погиб. Но все это случилось позднее, а пока меня звали к маме, и к ней я отправилась, как только уладила свои дела и связала вещи в узел.

\* \* \*

Леспромхоз Майра... Там случилось много нового в нашей жизни. Невеселое место, где, тем не менее, расцвела-таки репейным цветочком моя трудная молодость. От Таштагола до Новокузнецка — зоны, вышки с часовыми и местное население, разбросанное по деревням и поселкам. Заключенные строили вдоль всего маршрута железную дорогу. Что было, то уж было, из песни, как говорится, слова не выкинешь...

В Майре мамочка вышла замуж за хорошего человека, Аксенова Николая Ефимовича, судьба которого, судя по рассказам, достойна увлекательнейших мемуаров. Если соблюдать точность последующих фактов, то она пережила его на девять лет, будучи моложе на все двенадцать.

До революции носил Николай Ефимович звание купеческое, имел даже каменный дом в Ярославле; при нэпе трудился кустарем-фуражечником, женился, двух сыновей успел породить. По чьему-то бесчестному клеветническому доносу попал на Соловки, где познакомился с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, — да, конечно, тем самым, будущим академиком. Большими друзьями стали, но после освобождения пути их разошлись навсегда. Жена при аресте от него отреклась и уехала с детьми в направлении, простейшей логикой неопределяемом. Скитания по разным местам привели дядю Колю в Майру, где нашел он себе новую семью — нашу. На всю дальнейшую жизнь.

Приехав к ним, я устроилась в местную школу преподавать немецкий язык.

По правде сказать, мои знания данного предмета были крайне ограничены, но у всех остальных: и детей, и взрослых, они оказались еще скуднее. Я ощутила себя нужным человеком, равноправной комсомолкой в очень сплоченном молодежном коллективе. Помню, что большинство из нас, и я, конечно, носили защитные гимнастерки. Однажды общее собрание единогласно выбрало меня делегатом на районную комсомольскую конференцию, проходившую в Кузедеево. Словом, жизнь, будто взяв с нашей семьи свою суровую дань, на время предоставила нам возможность свободного полета...

\* \* \*

...Слушаю, как дочь и внучка рассуждают о нынешних тяготах, о вывернутой наизнанку морали, беззакониях нового общества, — и думаю, бабоньки мои женщины, что, наверное, при любом строе человеку невозможно существовать без тяжелых проблем. Вспоминаю из истории инквизицию, рабство и крепостничество, гладиаторские бои, казни, войны и прочую гадость, изобретенную нами, людьми, не кем-нибудь. Не знаю по каким признакам оценивать разновидности общества. Приходит в голову один критерий — способность воспитать народ на высокосознательном уровне. Вот и выбирайте! Издержки, по-видимому, все равно останутся, так или иначе, и при самой распрекрасной организации попадать в их число больно и трудно, но кому-то приходится...

\* \* \*

...Перед самой войной жизнь в стране начала понемногу налаживаться, в магазинах появились хорошие продукты. Помню очень душистый и вкусный шоколад, све-

жий хлеб, молоко, рыбу. Очень недолго, — настало утро 22 июня 1941 года и принесло свои черные плоды. Мама и Тамара, отдав неизбежную дань общему морю женских слез, проводили мужей на фронт, сестра Майка после уроков занималась в школьной мастерской — девчонки шили кисеты и вязали варежки, шарфы для солдат. Мы втроем продолжали учительствовать, по очереди приглядывая за маленьким Витькой, моим племянником. Когда мальчуган поручался мне, я одену, бывало, его потеплее да отправляю гулять, — сама же садилась готовиться к урокам или тетрадки проверять, дел-то было невпроворот. А он походит-походит, вернется и скажет:

— Теть-Нин, хлебушка нету?

Не знаю, как и вырастили. Теперь Виталий сам уже давно и отец, и дед. Навсегда так и прижился в Новосибирске, там и дети, и внуки его, наша крепкая веточка.

При мамочке виделись, конечно, чаще, она была надежным связующим узлом между родственными семьями.

В свободные дни я много ездила в окрестностях Новокузнецка, тайком даже от своих, в поисках отца. На строительстве железной дороги трудилось много людей, которые отбывали остаток срока на поселении. Они жили уже семейно, снимая углы, а то и целые комнаты у местных жителей, в бараках для вольнонаемных рабочих. Я познакомилась с некоторыми из них и вскоре встретила в этой среде будущего мужа, Ивана Рюмина. Попал он туда прямо перед войной, за случайную шутку, которую, при желании, — никого нет гаже доносчиков! — можно было двусмысленно истолковать. Зато, сказать по правде, это спасло его от войны. Молодой, на два года старше меня. Глаза черные, волосы вьются — классика! Влюбилась отчаянно. Долго тянуть не захотели, расписались прямо в зоне, где он числился. Теперь у меня появился другой повод для частых отлучек, но и об этом я никому тогда не сообщила. Впрочем, через несколько месяцев его досрочно освободили, и он, как снег на голову моим родным, свалился в Майру с полупустым фанерным чемоданом. То-то было мне счастье!

Жили мы очень импульсивно, неровно и пылко. Ревность меня поедом ела, везде все женские глаза только в его сторону и смотрели. Оказалось, он тоже любил это дамское внимание. Тем временем родилась у нас первая дочь, долго листала я старый календарь с именами и, наконец, выбрала — Маринка.

Нет ее уже лет двадцать. Характером была в отца, стремилась к невозможному, часто с людьми, особенно с начальством, конфликты заводила, ладно бы — за себя, а то — за чужих билась. Кого-то несправедливо премией обошли, напрасно выговор дали, с работы выживают, — так ты посочувствуй ему кулуарно, языком поцокай, скажи «ай-яй-яй! Надо же!», обсуди дома, за ужином, — а на рожон не лезь! Маринка вечно бросалась в бой, защищала всех, они ее же потом предавали и обходили стороной. Сгорела она от этого. С портретом теперь только и осталось говорить... Ох, трудно, уж мы-то с вами знаем, бабоньки мои женщины, жить после своих детей. Но все равно боюсь, боюсь умирать... Самый тяжелый страх, потому что безнадежен.

Когда я, через два года, ждала Сашку, не сомневалась — родится мальчик. Заранее надумали с Иваном — будет Борис, как Тамарин муж. Акушерка младенчика показывает, а я тарашусь изо всех сил, глазам поверить не могу, — где же мальчик-то? Долго потом двухлетняя Маринка подходила к кровати, показывала пальчиком и повторяла:

— Братик Боря!

А там спала сестричка Сашка. Мы с мужем хохотали над этим, были, несмотря на войну, по молодости лет счастливые, в такие моменты все смешным и радостным казалось.

Помню, в самый голодный период, год шел сорок четвертый, Сашке минуло месяца три, притащил мой мужик тушу, купил, говорит, недорого баранины на железнодорожной станции, у проезжающих. Голова рогатая почему-то отдельно прилагалась, ноги обрублены. Ели мы это мясо дней десять, а потом услышали об аресте уго-

ловников, разъезжавших на грузовых поездах и торговавших собачиной — за баранину. Стало нам так плохо, едва поняли мы, чего с голоду наелись. Сутки нас выполакивало, да с кровью, а ведь только на одном внушении, почти все переварилось давно и даже внутри не сохранилось.

Война запомнилась мне как непрерывный поток тяжелого труда, но и семейных радостей. После освобождения из заключения Иван оставался на поселении, под надзором, выполнял принудительные работы, зато на фронт не призывали, так я понапрасну и пробоялась до самого Дня Победы... А через несколько месяцев, перед праздником 7-го ноября, ко мне зашла соседка.

— Нина,— сказала она, сочувственно наблюдая, как я переодеваю Сашку.— Твой-то, знаешь, того... бабу новую завел... Сама видала! Яркая, черноволосая, вроде украинка.

— Врешь! — выговорила я, спустив дочку на пол. Мне уже делались осторожные скользкие намеки, но никто ни разу не сказал этого прямо.

У меня потемнело в глазах. До сих пор я старалась не верить, держать ревность в узде, однако лобового удара выдержать не смогла. Вошел Иван, держа за ручку Маринку, и соседку словно вымело из дома.

— Уходи! — закричала я.— Не хочу, не стану делить тебя ни с кем! Уходи!

Испуганные девчонки отчаянно взревели. Не знаю, что со мной случилось тогда. Произошла безобразная сцена, которая много лет вспоминалась со стыдом и горечью. Иван сильно растерялся, сразу сознался, что у него есть любовница, старался успокоить меня, отпаивал водой, но я долго не могла остановиться.

— Нина, не расстраивайся так, это все несерьезно,— уговаривал он.— Прости, не получилось из меня верного мужа, но я не хочу покидать вас, тебя и дочек, не гони меня...

Помню, тогда мне слова его казались кощунством, нахлынуло острое, нестерпимое отвращение. Внезапно поняв это, Иван отступил. Наскоро скинул кое-какой скарб в свой фанерный чемодан, еще раз нерешительно взглянул в мою сторону и, понурившись, ушел. А я обратно не позвала! Чувствовала себя, как видно, настолько здоровой, чтобы пережить семейный крах...

...Не-ет, вы не угадали, вернуться он пробовал, присылал друга, приходила свекровь. Больно вздрагивала душа, но тяжелая брезгливость давила, пересиливая и глуша извечную бабью слабость...

Развели нас быстро. Через три месяца Иван оформил отношения с той самой украинкой и, кстати, оставался с ней до конца. Он по-прежнему бегал почти за каждой юбкой, но его новая жена оказалась умнее, терпеливее и делала вид, что ничего не знает, родила ему сына, сохранила семью.

В молодости я ее не понимала, возмущалась такой терпимостью, гордилась собственным превосходством и непреклонностью. Да полно, думается мне, было ли, чем гордиться? Точного ответа, наверное, нет. Иногда считаю свое решение ошибкой, вспоминая, как долго страдала, и все мужчины, впоследствии пытавшиеся ухаживать за мной, воспринимались исключительно в сравнении, а значит, раздражали несходством и явным несоответствием тому, что рисовало сердце. Порой, давно утратив и боль, и обиду, ощущаю удовлетворение и умиротворение — и, в который раз, соглашаюсь со свершившимся фактом...

\* \* \*

...Новую жизнь я, по сложившейся привычке, начала с перемены места. Вдовая Тамара с сыном перебралась в Новосибирск, к свекрови. Мама с отчимом и Майей поселились на самой окраине Абакана в деревянном доме, завели огород и корову.

В тот год наша младшая сестра поступила учиться в институт, уже по традиции — педагогический, усердно осваивала физику и математику. Я со своими девочками обосновалась недалеко от них, купив буквально за гроши развалюху вблизи пустыря.

Следующие несколько лет обитала моя семья на самой, что ни на есть, окраине, в старой избе, где никакого, даже символического замка в двери не было. Именно там на ночь мы привязывали дверь чулком к печной заслонке от лихих людей. Однако обходили наш дом лихие люди, издали, наверное, определяя опытным взглядом, что здесь не брать, а давать надо.

Устроилась я поначалу в школьную библиотеку. Не забыв прощальных папочкиных слов, поступила на заочное отделение пединститута. Через год перевели на учительскую должность, — как только место освободилось.

Времена были нелегкие, послевоенные, достатком небалованные.

Я, безмужняя учительница с двумя детьми, жила и вовсе скудно. Работала в школе, днем решала с ребятами примеры и задачки, часто до поздней ночи исправляла неизбежные в этом деле ошибки. Зато дочки мои до поры гуляли свободно, все окрестные болота облазили, то незабудки, то клюкву собирали да все, что съедобным казалось, в рот клали. После войны голодно-вато было.

Перед тем, как в первый класс поступать, заболела скарлатиной Маринка. Обрили ей голову в больнице, как тогда всем полагалось. Из-за этого случилась незначительная такая неприятность.

Видите ли, бабоньки мои женщины, в то время приехала к нам, в школе работать, учительница начальных классов Вера Васильевна, очень важная особа. Славилась она по нашей педагогической части на всю окрестную область, поэтому выбирала себе в ученики ребят, изучая их прямо-таки под микроскопом, кого попало принимать не хотела. Все, какое-никакое, местное начальство, имеющие, конечно, подходящего возраста детей, пожелали устроить их под знаменитое крылышко. Представьте, — стоит очередь испуганной, чересчур старательно умытой и нарядной малышни, банты огромные с полголовы, воротнички там всякие, ботиночки с блеском. Прохаживается среди них Вера Васильевна, принимает веское решение. Возьмет за ручку, улыбнется, отведет направо — вздохнут родители с облегчением: пристроено чадо. Нахмурится, укажет налево — минует дитя вершины ее педагогического мастерства, изучать ему азбуку под руководством ничем не примечательной Марии Петровны. А поименованная Мария Петровна рядом стоит, смотрит, своей очереди ждет.

Случилась в этой толпе и Маринка, худенькая, бледная, в платье фланелевом, из мамино, моего то есть, халата перешитом, да еще наголо обритая. В руках самодельный чемоданчик вместо портфеля, Николаем Ефимовичем сработанный. Нахмурилась Вера Васильевна, налево показывает. Мария Петровна возьми и скажи тихонько:

— Это дочка нашей учительницы, болела недавно. Примите ее.

— Так и быть, — кивнула Вера Васильевна, — пусть направо идет.

...Лежит на моей ладони маленький снимок, — хмурая, нескладная бритоголовая девочка с большущими глазами, — и прошлое вдруг становится настоящим...

\* \* \*

...В сорок девятом году основательная сибирская зима хозяйничала в городе.

На улицах, особенно на окраине, высились тяжелые сугробы. Словно со стороны, вижу, как сижу у себя в маленькой комнате за круглым столом, где аккуратно разложены стопки ученических тетрадей, проверяю решение, оцениваю детские труды. Ночная мгла давит на окна, как усталость на глаза. Внутри тоже темно, только оди-

нокая лампочка на длинном проводе, не обремененная абажуром, вырезает на общем фоне освещенный ею фрагмент человеческой жизни. У стены, что поближе к печке, лохматый полумрак сторожит сон двух моих девчонок, семи и пяти лет. Спали мы тогда все вместе на этой большой, сильно продавленной, железной кровати.

Уже ночью закрываю последнюю проверенную тетрадь. Укладываясь рядом с дочками, привычно касаюсь губами их лобиков — не горячие ли? Похоже, все в порядке. Лечу в сон, как в пропасть...

Частый, тревожный стук в окно разбудил меня.

— Нина Яновна, вы заболели? — кричал знакомый девчоночий голос.— Урок уже начался!

Это за мной прибежала ученица.

«Проспала! Опоздала!» Не помня себя, я оделась, схватила со стола тетради, бегом бросилась в школу. Шестиклассница едва поспевала за мной, говоря:

— Мы взяли ключ, все сидят в классе, не беспокойтесь.

Время было серьезное, опоздание считалось преступлением, за него жестко наказывали, вплоть до тюрьмы,— однако, обошлось.

Пробежали по неодобрительно молчащему коридору, никого не встретив.

В классе застыла невероятная тишина, казалось, встревоженные, настороженные дети почти не дышат. Помню прилив острого чувства благодарности ребятишкам — не подвели, милые, хорошие, спасибо!

Я извинилась, поблагодарила, начала объяснять новую тему. Спустя несколько минут заглянул директор, сухо и строго кивнул, ушел. У него имелась привычка во время первого урока совершать обход, проверяя, все ли на месте.

В моей жизни это был единственный случай опоздания на работу, так нас воспитали,— да и правильно.

...Стала Маринка учиться в знаменитом классе. Много ли, мало ли времени прошло, только обогнала она в успехах всех начальственных и нена начальственных детей в школе, и сама по этой части сделалась знаменитой. И косы, конечно, отросли, да еще вьющиеся, темно-каштановые, как у отца. Ей исполнилось двенадцать лет, и тогда она пришла как-то раз домой и решительно сказала:

— Хочу перейти в другой класс. Здесь хвастают нарядами, родителями, поездками на море. Мне лучше учиться там, где буду выделяться только отличной учебой...

Я согласилась с ней, и с тех пор она занималась в параллельном классе, среди детей нена начальственных родителей. Коллектив оказался очень дружный, а Маринка до выпуска оставалась лучшей ученицей школы.

\* \* \*

Сашка попроще была, училась обыкновенно, любила спортивные игры. Когда ей исполнилось всего четыре года, я ее только чудом не потеряла.

В один ничем не примечательный осенний день возвращаюсь из школы, а она спит,— невероятный, и потому пугающий, случай! Обычно уложить ее, даже в поздний час, оказывалось немалой проблемой. В ответ на мой оклик с подушки приподнимается чересчур красное личико в светлом облаке взлохмаченных волос:

— А, ты пришла, мама... Головка болит...

Это теперь я ковыряюсь в мобильном телефоне и общение на расстоянии для меня — дело простое и привычное. А в тот день, поняв, что она вся горит, схватила ее, завернула в одеяло и побежала в больницу. Путь был не близкий.

— Энцефалит,— поставил диагноз врач,— состояние тяжелое...

Сильно помог мне в горький этот период Александр Георгиевич. Он ухаживал за мной церемонно и трогательно. Знаю, что крепко любил меня, блондин, ростом вы-

шел, очень порядочный, да только немецкой национальности, потому не заладилось у нас. Но тогда, на время Сашкиной болезни, сразу взял на себя заботу о Маринке и, пока я в стационаре пропадала, вел хозяйство.

...Помню,— сижу у кровати в боксе, слушаю мутный бред моей дочки и реву, моментами громко, судорожно всхлипывая. Помню,— доктор предупреждает, что дело плохо. Я выхожу в коридор, бессмысленно гляжу в окно. Чья-то рука гладит мою понурю голову. Вздрыгнув, оборачиваюсь. Больничная нянечка, которую все звали там баба Саша, смотрит на меня, и лицо ее в слезах.

— Иди, милая, в церковь, помолись как получится, как уж сумеешь. Добудь святой водички, хоть немного,— чуть слышно шелестит она.— А еще,— ты ее от груди давно, поди, отняла?

— Давно,— шепчу я.

— Тереби, тереби грудь, заставь снова дать молоко...

Какая-то неистовая, сумасшедшая надежда вдруг захлестнула меня. Действующих церквей почти не было тогда, но баба Саша назвала мне деревню, куда можно поехать. Я отправилась немедленно.

Старенький поп выслушал меня очень серьезно, благословил, налил в бутылку святую воду и, пообещав отслужить молебен, велел поторопиться. Не помню ни названия деревни, ни вида церкви той. Хотела потом найти — не смогла...

...Когда вернулась в больницу, баба Саша взяла святую воду, перекрестилась, смочила моей малышке волосики и лицо, побрызгала на постель, едва слышно шепча молитвы. Я села у кровати, расстегнула кофту и начала выдавливать из пустой груди молоко. Боли не чувствовала, не до того было. Баба Саша помазала мне грудь святой водой. Не помню, сколько времени прошло, из сосков уже шла кровь, я давило и давило, на коже вышли синяки, из глаз слезы текут, не переставая, смешиваются с кровью и сползают полосками на живот. И вдруг пошло молоко!.. Сначала пополам с кровью, потом я обтерлась мокрым полотенцем, и молоко очистилось. Дочка мечется в бреду, почти хрипит. Я схватила ее, к себе притянула — и сую ей сосок в обжигающе-горячий от жара рот! Она зачмокала, как грудная, начала тянуть. Успокоилась, на лобике выступил пот, и я сама почувствовала, как ей становится легче...

Она начала поправляться. Врачи говорили,— кризис прошел, а я сцеживала свое молоко и пила ее теперь из чашки.

Баба Саша неожиданно уволилась и куда-то уехала. До сих пор вспоминаю о ней, как об ангеле-хранителе.

Когда дочка выздоровела, мы с мамочкой и Тamarой нашли за городом другую церковь и окрестили всех наших ребят. Все думаю,— напрасно так жестко, категорично запрещалась религия, никуда от нее человеку не деться... Врачи-то меня уже к Сашкиным похоронам исподволь готовили, а после удивлялись, как все вдруг изменилось. Не знаю, что именно спасло тогда мою младшую, да с нею, получается, и внучку Надюху, и правнучку, Олеську-художницу... Словом, чистое кино,— продолжение следует...

...Однако сейчас, о себе, молиться не получается. Пробую, конечно, но... результата нет, и — страшно, страшно. Представлю жизнь потом, без меня,— нет, не могу понять. Забыть, забыть, забыть...

\* \* \*

...В некий момент Александром Георгиевичем как немцем заинтересовались органы безопасности, и я со стыдом, с горечью однажды сказала ему:

— Уезжай-ка ты, Саша, подобру-поздорову, пока чего не случилось. Знаешь ведь, сколько мы натерпелись уже. Дочек моих пожалей...

Он заплакал от этих слов, тяжело нам было. Вскоре проводили мы его в какую-то глушь, вроде тех поселков, где сами раньше жили. Недолгое время несостоявшийся муж мой кочевал по разным местам, одно другого дичее, присылал даже денег понемногу — в помощь, потом след потерялся. Спустя годы стороной дошло до нас, что ему повезло найти хорошее место и удачно жениться, тоже на обрусевшей немке...

Я не жалела о том, что отослала его. Сейчас думается порой, — не было у меня к нему настоящей привязанности, душа после Ивана не принимала никого...

...А Тамара, получившая похоронку на своего Бориса почти в начале войны, в сорок шестом году вышла замуж снова, за мобилизовавшегося фронтовика. Анатолий Барцевич его звали. Он рассказал, что жена с тремя детьми погибли в оккупации. Документ об этом хранил. И вдруг, через несколько месяцев, когда ждали уже малыша, ему пришло сообщение, — мол, семья жива и его ищет.

Ох, тя-ажко было смотреть, как оба, Тамара и Анатолий, отчаянно рыдали, цепляясь друг за друга на вокзале перед расставанием. Барцевич навсегда возвращался к прежней жене. Что ж делать, — они не виноваты были, так случилось. После войны подобных историй происходило немало, судьба нас и этим не обделила. Каждый, с кем подобное случалось, дилемму решал по-своему: один оставался в новой семье, другой уходил обратно. Некоторые, сделав выбор, тем не менее продолжали общаться с покинутыми и помогали им, чем могли. В нашем случае разрыв был полным и безоговорочным. Из-за мучительных переживаний ребенка сестра не сохранила, но пожалуй, и к лучшему. Анатолий никогда не пытался связаться с ней или с нами и не узнал, что сын, несколько недель ожидаемый им с таким нетерпением, не родился. Мы тоже больше не имели известий о Барцевиче.

...После его отъезда Тамара заметалась, жить в прежнем окружении домов и людей оказалось тяжело. Она словно задыхалась в четко очерченном круге бытия. Помог брат Бориса, ее первого мужа. Будучи превосходным хирургом, Виктор обратился с просьбой к одному из своих бывших благодарных пациентов, который трудился в дальнем Подмоскowie, близ Кубинки. Бабоньки мои женщины, люди в то время понимали чужое горе, война ли научила, может, сердца у них из плоти были, не легковесно-безразличные, пластмассовые, как сейчас, а только выручил, буквально спас нашу Тамару в тот период незнакомый далекий человек. Пригласил к себе работать, помог обрести крышу над головой, хоть и в опустевших конюшнях, разделенных перегородками на крохотные комнатки-каютки.

Устраиваться, помню, поехали мы с ней вдвоем. Пункт назначения был — деревня Головково, десять километров от Кубинки. Половину расстояния преодолели пешком, а ведь это места тяжелых боев. Словно опять вижу дорогу, по краям обсаженную деревьями, густая трава, в которой проглядывали скелеты в касках, помятые фляги, гнутые алюминиевые ложки... Так и шли сквозь их молчаливый строй и сквозь собственные слезы...

...В деревне, на подсобном хозяйстве, Тамара проработала около двух лет. Горе ее попритихло, стало не таким злым и острым. Она начала чувствовать свою оторванность от всех нас, продолжавших жить в Сибири. К маме, ко мне зачастили письма, и скоро сестра вместе с Виталиком вернулись, сначала в Абакан, затем в привычный и родной Новосибирск...

\* \* \*

...Пришла Сашка, молча повозилась на кухне, принесла ужин — куриную ножку с рисом и компот. Осунулась, однако, вроде, и похудела. Устает она, конечно, со мной тоже намаялась. Да мне-то каково, страшно, силы, будто вода, куда-то вниз,

через надоевший матрац просачиваются... Жую полусидя, а тоска на грудь давит, даже в телевизор смотреть скучно...

...Когда Маринка пошла в первый класс, жизнь начала потихоньку выравниваться, я смогла купить корову со стандартной кличкой Зорька, однако с резко выраженной индивидуальностью. У нее от природы не было рогов, но капризов и упрямства хоть отбавляй. Наверное, прежние хозяева именно по этой причине запросили недорого, хотя она давала много молока. Но бодалась комолым лбом страшно! и любила после дойки опрокинуть ведро... Пришлось к ней приноравливаться. Впрочем, меня она вскоре признала, однако с другими озоровала вовсю и, если я прибаливала или уезжала, свеженадоенное кем-либо молоко рекой лилось в землю. Дождется, бывало, паразитка хитрая, конца процесса, только человек расслабится, думая, мол, все в порядке, а Зорька исподтишка возьмет и лягнет ведро. Такая норовистая корова! Зато продукт выдавала — соседи завидовали!

Жить легко, однако, не приходилось. Уроки в две смены, поэтому старшая, Маринка, бежала домой раньше, — хоть мала еще, а хозяйство почти все на ней. Корову из стада встретить, полы помыть, картошки или каши какой наварить к ужину. За Сашкой, конечно, приглядеть. Счастье, что школьная наука была Маринке — раз плюнуть! С ее пятого класса по вечерам садились мы с ней рядом тетради моих учеников проверять. Она, умница эдакая, быстрой меня управлялась...

Ха! Слушаю я сейчас, как вздыхают о буднях трудовых Сашка с Надюхой, и кажется мне, что на ерунду обе жалуются. Пустяки там у них! С нас-то по семь шкур шелушивали. Тетрадей, помню, тьма, по нескольку пачек на вечер, и к следующему утру, будь любезна, до единой проверь. Подробный план составляли к каждому уроку, для каждого класса отдельно. К примеру, — для шестого «Б» — один, для шестого «В» — другой... Потом, правда, полегче стало, разрешили общий план для всей параллели. А то, случалось, и ночи почти не спишь за проверкой или над конспектом. Хозяйство, худо-бедно, на малолетках моих держалось. Однако, успевали они и по окрестностям носиться. За ними надзирать, да специально воспитывать нам недосуг было.

О некоторых забавах своих девчонок я узнала, когда они собственные семьи имели.

Недалеко от избы нашей пролежала железная дорога, и толпа ребятишек долго развлекалась тем, что перед приближающимся поездом перебежки устраивала. Однажды женщине в подобной ситуации, — спешила куда-то, споткнулась, — прямо на глазах у детей ноги отрезало. После этого они перестали на рельсах играть...

А на реку, на Ташебу, как бегали! Купались, по камням прыгали, — течение бурное, вода почти ледяная! — чем заняты, нам, родителям, и невдомек! Не заболел, не утонул, не расшибся никто — повезло. Теперь задумаешься, — становится жутко.

Раз в две недели — чаще с одним выходным не получалось, — ходили в баню.

В промежутке полоскались в большой бочке на огороде, а по зимнему времени пользовались корытом, в котором также и стирали. Баня располагалась за вокзалом, где был большой железнодорожный узел, много составов, преимущественно товарных, которые подолгу стояли и ждали своей очереди на перегон, а с места трогали внезапно...

Итак, — в баню. Сначала мы собирали полотенца, сменную одежду, принадлежности для мытья.

— Девчонки, скорее, — торопила я, зная, что предстоит долгое ожидание: народу в бане всегда собиралось полно. Вещи увязывались в широкое покрывало, и мы выходили из избы. Маринка или Сашка стучали в окно мамочке. Мои родители присоединялись к нам с таким же узлом, и мероприятие начиналось. До вокзала добирались полчаса, за отсутствием автобусов — пешком, оживленно делясь новостями и плана-

ми на покупки. Переход через пути создавал ужасное напряжение,— приходилось пробираться под поездами, отчаянно рискуя, поскольку состав мог в любой момент тронуться с места. Помогали детям и друг другу. Потом долго сидели в очереди в предбаннике.

Возвращались той же дорогой. К вокзалу вплотную примыкал большой завод, поэтому обход был практически невозможен. Когда, наконец, пустили рейсовые автобусы, выбрали другую баню, ради которой не приходилось рисковать жизнью... Новое жилье получили, лучше нашей избухи... Но еще около двух лет опасный путь не отпускал нас, ведь мы топили углем, и требовалось ежемесячно заказывать его, а соответствующая контора находилась около прежней бани. Эта обязанность легла на бедную Маринку, и в то время, то ли по молодости своей, то ли от занятости и измотанности, я даже не задумывалась над опасностью, которой с устрашающей периодичностью подвергалась моя девчонка, ныряя под поезда. Теперь, думая о чудом миновавшей нас трагедии, запоздало пугаюсь, до ледяного пота... хоть Маринки давно нет, и по иной причине.

Трудно было жить, но именно поэтому построили удобные города, теплые квартиры, где все под рукой. Тогда считали за счастье, что кончилась война, а сейчас ни в чем не видят хорошего и вечно недовольны...

...Помню радость,— Зорька бычка принесла. Славный, крепенький. Девчонкам, как рога обозначились, велела голову ему не чесать, иначе бодливый будет.

И стоило отвернуться,— то Маринка, то Сашка обязательно возле него оказывались, лоб его скребли. Он и рад, сам за ними все ходил, массаж выпрашивал. Сдали мы его потом на мясо, как держать больше не смогли. Вскоре и Зорьку продать пришлось,— квартиру нам дали, где корове места уж не было. Не хотела от нас уходить, упиралась, мычала, бедная. Привязчивые они! Мы тоже заплакали, да что поделывать? При переезде, как водится, забили мы дверь и окна нашей развалюхи досками, да так и бросили — никто ее не купил...

Новое жилье было в двухэтажном деревянном доме. Квартирешка, по современным меркам, на смех курам — входная дверь с улицы прямо в комнату, маленькую, метров десять, а из нее на проход еще одна, совсем крохотная. Зато замок нормально запирался, да соседи кругом... Не страшно жить стало. Главное,— до школы недалеко, прямая улица. Правда, от мамочки неблизко. Они с Николаем Ефимовичем по-прежнему оставались в своей избе, а мы оказались практически в центре Абакана, наши окна выходили на большой городской парк, по субботам в нем устраивались вечерние танцы для молодежи, в аллеях на лавочках сидели старики и влюбленные парочки. Однако заходили в разных направлениях автобусы, один останавливался прямо возле родительского дома. Сашка частенько к ним наезжала, они внучку баловали, то молочка парного нальют, то пирогов напекут. У них своя корова была смиренная да ласковая, не как наша Зорька. Они и огородом всю занимались, нам соленья-варенья приносили.

За хлопотами повседневной жизни я окончила институт, приобрела официальный статус учительницы математики. Где-то среди стремительно проходящих лет затерялся день, когда пришло письмо от тети Зои, давно пропавшей из виду маминой сестры. Она оказалась живущей в Серпухове, снова замужем, родила дочь, названную вычурным для нас именем Виктория. Наладилась переписка, длившаяся впрочем, недолго...

\* \* \*

— Если бы меня попросили назвать самого несчастного человека, то я не знаю никого, кроме тети Зои, кто больше других соответствует этому определению,— говорит сегодняшняя Сашка, прихлебывая кефир.

Удивительно, как совпадают иногда наши мысли. Однако меня это раздражает и, не подавая вида, что сию минуту размышляла о том же, с неудовольствием прошу налить мне чаю. Дочь со вздохом замолкает, приносит мой стакан и хлеб с маслом. Я снова погружаюсь в свои мысли.

Мамина сестра была бессильна перед судьбой и неудачлива. Жила незаметно, словно шепотом. О ней известно мало подробностей. Короткий брак с летчиком и рождение первенца Славки — те недолгие радости, которые были скорее одолжены, а не подарены ей. Помните, бабоньки мои женщины, как погиб ее любимый муж, и как хоронили мы втроем их сынишку?

Новое замужество тети Зои тоже долгим и удачным не оказалось. Всего несколько лет,— и несчастная привезла к мамочке свою Вику. Из-за развода пришлось ей переселиться в полуподвал, комнатуху, в которой было темно даже солнечным днем. Нельзя в таком помещении жить ребенку. Да и с работой как-то не везло.

С тех пор девочка, ровесница Маринки, жила в семье моих родителей, в нашем Абакане выросла и выучилась.

Несколько месяцев мамина сестра прожила вместе с ней в родительском доме.

На этот период пришлось Сашкина скарлатина. Почти все дети успевали тогда переболеть ею, коварная была зараза. Сорок обязательных дней в больнице — и, наконец, выписка. Накануне этого дня оказался выходной, и поехали мы с тетей Зоей на рынок. Походили, купили кое-какие вещи для детей, совсем уже собрались уходить, и вдруг смотрим — стоит в сторонке женщина, в большой корзине у нее разные игрушки.

— Нина, завтра Саша вернется домой, давай подарим ей игрушку,— несмело предложила тетя Зоя.

Она сама выбрала коричневого мишку, набитого опилками. Сашка так радовалась, что я до сих пор вспоминаю об этом с улыбкой. Схватила его, тискала, разговаривала с ним, по-моему, даже не заметила, что мы ее переодели. Пришлось в какой-то момент слегка шлепнуть по мягкому месту, отвлечь и поторопить. Она, конечно, захныкала.

— Ничего,— сказала ей тетя Зоя, застегивая пуговицы на платье.— Мы с тобой ему наряды сошьем, будет мишка у тебя самый красивый!

От нечего делать мамина сестра действительно сидела потом за машинкой, строила игрушечное приданое. Чего там только не было,— и штанишки из фланели, и рубашки из ситца, даже, смешно вспомнить, матросский костюмчик и пальто из обрезков сукна. Если помните, бабоньки мои женщины, самодельный чемоданчик, с которым моя Маринка пошла в первый класс, то его отдали Сашке под мишкин гардероб. Счастья девчонке хватило лет на восемь. До того, как начала на танцы бегать, все в своего медведя играла...

...Вскоре тетя Зоя уехала в Серпухов. С Викой она прощалась мучительно, зная, что надолго. Вика нетерпеливо ждала, когда мать сядет в поезд,— друзья позвали ее в кино...

Письма тети Зои приходили к нам часто, они отличались красивым почерком, грамотностью и длинными текстами. Скоро мы перестали отвечать на них,— не хватало времени. После развода и необходимого, по обстоятельствам, расставания с дочерью, женщина совершенно оглохла и жила крайне скудно, почти только на пенсию по инвалидности. Естественно, ей оставалась одна переписка, но нам-то было некогда! Когда она это поняла, то установила ежемесячный регламент, а мы узнавали письма «в лицо», по толщине и, не читая, чаще всего выбрасывали. Мамочка, правда, временами отправляла ей короткие отчеты о том, как живет Вика, иногда вкладывая фотографии.

Сашка недавно напомнила мне эпизод, о котором я прежде не знала, хотя и не забыла момента, с какого все началось.

— Мы с тобой возвращались вечером из школы,— говорила дочь.— Очень пухлое письмо в потрепанном конверте торчало в дверной ручке и было смято. Мне тогда, по-моему, исполнилось одиннадцать лет. Ты взяла письмо, повертела в руках, недовольно поморщилась.

— А, от тети Зои...— и бросила на кипу старых газет в углу.

Мне, девчонке, вдруг стало жаль ее, и на другой день я прочла это послание. В нем было много смиренного страдания, иступленно-подавленной тоски по дочери и одиночества, ставшего привычкой.

— Представляешь, мама, я поняла, хоть и по-своему, все «взрослые» чувства, впитавшиеся в бумагу,— сказала Сашка,— и вечером настрочила подробный, по-детски ласковый ответ. Следующее письмо пришло очень скоро и уже прямо на мое имя...

— Да, помню,— пробурчала я,— меня это очень удивило... С чего бы ей обращаться к ребенку...

— А у нас завязалась вдруг переписка. Во всех письмах она так горячо благодарила меня, что становилось больно и совестно. Но с четырнадцати лет я начала бегать на танцы, кстати, вместе с Викой, и переписка замедлилась, и потом сошла на нет, слишком многое отвлекало от нее...

— Конечно,— отвечаю,— ты ж у нас доброхотка! Все хочешь показать, будто лучше других...

Сашка встает и быстро выходит на кухню. Теперь долго-долго станет мыть посуду, затеет разбираться в шкафу и, поскольку сегодня выходной, отправится бродить по улицам. Ох, и злюсь я на нее! Раздражает и эта обидчивость, и услужливый терпеливый уход. Молчание надоедает, как и разговоры бестолковые. Если начнет рассказывать о работе, у меня внутри кошки зашкрябают,— я-то валяюсь здесь, где ничего не происходит, только постель сбилась комьями. Лежу, словно на кочках, бока болят, сил нет терпеть...

— Мама,— вернувшись домой, говорит Сашка,— купила вот новый матрац. Давай тебе перестелю, полегче будет...

— На том свете мне легче будет,— возражаю я,— опять собралась меня мучить...

Дочь сжимает губы, но решительно подтягивает раскладушку к моей кровати. Предстоит неприятная, отчасти болезненная и довольно долгая процедура.

Вздыхая и вскрикивая, переносу затекшее и неповоротливое тело с помощью Сашки на раскладушку. Больная нога несметное число раз успевает зацепиться за все подвернувшиеся выступы и за вторую ногу. Ее выворачивает то в одну, то в другую сторону,— о-ох, не приведи, Господь!..

Затем Сашка терроризирует меня длительным массажем. Моментами кожа чувствует облегчение, так как почти онемела от неподвижности, но бывают раздражающе-болезненные ощущения, поэтому я бурчу и ворчу. Следует нудный и тяжелый для нас обеих процесс мытья, прямо в комнате, ведь ей не под силу отбуксировать меня в ванную.

С некоторым оттенком торжественности новый матрац, если не ошибаюсь, пятый или шестой по счету, укладывается на кровать.

Переползая обратно гораздо труднее,— край раскладушки намного ниже. Дочь подтягивает мое тело наверх, ноги болтаются и болят, постель подворачивается под мной, приходится останавливаться и поправлять ее.

Наконец попытка заканчивается, я снова на месте, бугров и комьев пока нет.

На время мне становится лучше, но раздражение не унимается.

— И что толку? — говорю.— Матрац все равно опять собьется. Немного полежу,— будет то же самое...

Сашка молча убирает комнату. На меня вдруг накатывает знакомый ужас и выступает испарина. Начинаю фантазировать вслух, чтобы избавиться от этого ощущения.

— Мне бы собраться с силами,— злобно мечтаю я,— подползла бы на руках к балкону и выкинулась бы вместе с Маруськой, все одно мы с ней никому не нужны...

— Мама, не грехи! — возмущается дочь.— Городишь ерунду, чтоб на нервах поиграть, что ли?

— Тебе же легче будет! Похоронишь и забудешь. Не бойся, чтоб тебя не обвинили, я бы сделала все, когда ты на работе!

— А зачем ты с меня тогда салаты требуешь и разносолы всякие, если жить якобы не хочешь? — запальчиво выкрикивает она, в сердцах бросая тряпку, которой собирала воду.— Температуру и давление без конца меряешь!

— Язва ты, Сашка! — отворачиваюсь к стене и с головой укрываюсь простыней.

...Ночью дочь задыхается, кашляет, часто вдыхает из своей трубки лекарство, не может спать. Я начинаю волноваться за нее и предлагаю вызвать врача.

— Не врач нужен, а спокойные нервы,— жестко отвечает она.

Замолкаю и жду утра, прислушиваясь к ней. Утром Сашка без единого слова приносит мне завтрак и уходит на работу. Не понимает меня дочь!..

Ко мне прыгает Маруська, мурлычет, и я в благодарность кормлю ее кусочками остывающей курицы и плачу. Сашкин кот наблюдает за нами с кресла, но ничего не просит. Весь в хозяйку, с характером.

Есть у меня мечта — не мечта, а так, что-то несбыточное, вроде фантазии... Пройти бы пешком, никуда не спеша, по Абакану, вдоль парка, увидеть знакомые улицы, заглянуть в дома, где мы жили. Конечно, мало осталось от того города, зарос, поди, высокими зданиями, заасфальтирован, почти неузнаваем... ..Стремительно текла жизнь, переполненная проблемами, работой, страданиями и радостями. Что-то случалось, на время заслоняло все предыдущее, казалось самым важным, но потом забывалось, как сувенир, старательно выбранный при покупке,— и вскоре надоевший, оставленный под слоем пыли на полке в углу. Некоторые воспоминания и сейчас причиняют боль, однако слабую, приглушенную, но...

...А хотите знать, как проходят мои дни теперь? Дочь уходит еще затемно. Я больше не сплю, прислушиваюсь к звукам дома. Густой сумрак обладает поразительными акустическими свойствами. Слышу, как погода открывается дверь соседней квартиры, и жена, ворча и назидая, провожает мужа на работу. Есть наказания, повторяющиеся ежедневно, но каждый раз возникают новые мелкие поручения, которые он должен выполнить именно сегодня, а для меня это является приметой продолжающейся жизни. Узнав, что ему нужно купить хлеба, в воображении встаю, одеваюсь, спускаюсь по лестнице и отправляюсь в магазин. Мысленно стараюсь вспомнить подробности всех движений, необходимых для совершения таких действий. Вам никогда не придет в голову ничего подобного, пока здоровье в порядке. Мне становится страшно от того, что я уже не могу отчетливо представить прежние ощущения, ходьбу и многое другое воспринимаю расплывчато, смутно, будто у меня не было этого опыта. С похожей стремительностью мы утрачиваем реальную память о лицах умерших людей. Дробя и перемалывая в мыслях каждый невозможный момент прогулки, внезапно замечаю, что в комнате давно гостит день, овсянка остыла и затянута неаппетитной синеватой коростой, а сосиски побагровели и скрючились. Желудок испытывает легкий позыв к еде, однако при виде столь унылого угощения сникает и задремывает.

...А я задумываюсь о Маруське, ведь и ее придется мне скоро покинуть на этом свете. Помню, зима удружила морозцем градусов за тридцать. Выхожу за почтой в подъезд, а там холодно, почти как на улице, пронизывающего ветра только не хвата-

ет. Сидит белая кошечка, месяцев четырех, трясется вся. Поглядела на меня и еле слышно пишкнула, бедолага... Я и умилилась. Она до сих пор очень редко и почти беззвучно мявкает, должно, голос тогда же, в январе, отморозила себе напрочь...

\* \* \*

...Что, кажется, немного поспала? Дальше в программе моего дня телевизор, любимый сериал. Спасибо, придумали пульт, иначе в моем неповоротливом положении этот развешиватель тревог оказался бы для меня недоступен. Однако, я ему польстила — временами он оповещает о жутких преступлениях, нападениях, стихийных бедствиях... Говорят,— гласность, гласность, а кому нужно это слушать, вздрагивать, всего бояться, выходя из дома? Дали бы жить каждому, пока живется, не запугивая, не развращая, не выворачивая душу. Выключаю, не хочу знать ваши новости, ко мне они теперь не имеют отношения!..И опять стремительно пролистываю свою память назад...

...Маринка блестяще окончила школу и, несмотря на все уговоры, решительно собиралась штурмовать столичный институт. Сашка, не имея столь ярких успехов в учебе, скромно подала документы в местное медицинское училище. Моя младшая, беленькая и черноглазая, становилась очень хорошенькой девушкой.

Наша отличница довольно легко сдала вступительный экзамен по математике и стала московской студенткой. Первое время ее письма содержали в основном подробности городских впечатлений, а затем стали нетерпеливо-короткими, сдержанно, как бы вскользь, упоминали о некоем Антоне. В конце первого курса мы получили сообщение, что Маринка вышла замуж. Помню, как я съездила к ним летом. Сашку с собой не взяла,— ее закружили собственные любовные заморочки.

Встречали меня, однако, весело, водили гулять по Арбату,— мне тогда все было в диковинку, Москву видела в первый раз. Больше всего интересовали магазины,— очень я тогда это любила. Зять оказался коренной москвич, жили в комнате, квартира коммунальная, десять семей, умываться по утрам — очередь. Зато окна глядели прямо на Чистые пруды.

— Повезло тебе, дочка,— сказала я, когда меня провожали домой.

— А ты ведь была против,— погрустнев, ответила Маринка.

Не захотелось мне отвечать на ее недоговоренный упрек, что помешала, мол, поступать в артистки. Да кто бы принял-то? По молодости не понимала, куда тянулась. В Москву чудом удалось попасть,— вот и радуйся. Можно ли такой ненасытной быть?

Смирилась она, однако, успокоилась. Диплом получила, родилась у них Светланка. Когда ребенку минуло полтора года, призвали меня на помощь.

Все бросила тогда, приехала в няньки. Они отправлялись на работу, а мы с внучкой шли гулять — занятие, по правде сказать, скучнейшее. А вокруг столько нарядных витрин! Не удержалась я и прямо с утра двинулась со Светланкой по всем ближним универсам. Да только вечером Антон спросил у нее, куда с бабушкой ходила, а она возьми и скажи, что в магазин... Ох, и ругался зять! Ребенку, говорит, надо на воздух, в парк или на бульвар. Это хорошо, конечно, а мне каково? Приехать в Москву,— и болтаться между деревьями. С тех пор Светланка исправно сообщала папе, будто в парке гуляла. Именно так я называла для нее походы по магазинам. Как вернулась в Абакан, подругам своим рассказывала историю эту, вместо анекдота.

Однако Антон недолго играл роль добросовестного отца. Мелькнула на горизонте крашенная блондинка, а дальше неприятности, развод и колючий вопрос,— где обитать молодой маме с ребенком? Выручила, царствие ей теперь небесное, тетя Вера, пожилая одинокая родственница моего бывшего зятя, которая после моего отъезда согласилась, сначала с неохотой, взять на себя заботы о Светланке. Спустя небольшое время она, однако, сильно привязалась к малышке. В соседнем доме у нее

имелась однокомнатная квартира, куда женщина, возмущенная уходом Антона из семьи, и позвала Маринку с ребенком. Именно с того момента мы начали откладывать деньги на кооперативную квартиру. Ох, и трудный был период!

На счету каждая копейка, что у Маринки, что у меня. Жались, жались, но первый взнос собрали. Сейчас у нас не ничего бы не вышло,— как ни барахтайся, а за ростом цен не угонишься. Почти десять лет потом за нее выплачивали, шутка сказать, в те времена — по пятнадцать рубликов ежемесячно! Зато отдельное жилье было, хоть и не на Чистых прудах. Купила дочь пианино, повела Светланку в музыкальную школу...

У Маринки моей от нелепой мечты стать актрисой осталась тяга к блеску, к праздничной стороне жизни. Кое в чем судьба, однако, потворствовала ей. Случай, уж теперь не помню, какой именно, забросил умницу нашу работать в институт патентоведения, где второе образование получали администраторы артистов, завершающие карьеру спортсмены, не летавшие или уже отлетавшие свое летчики и космонавты. Маринка читала им лекции, любила их общество, на волне этой эйфории изучила даже французский и польский языки. Толку — никакого!.. Книжки в подлиннике читала, а в Париж никто не позвал... И во Францию эту, и потом в Варшаву одно начальство и ездило, хотя по-импортному ни бельмес... Говорила ей — будь, кто есть, из кожи попусту не выпрыгивай. Не слушала, все справедливости искала, и только на том свете, может, нашла... К слову,— если не забыли, бабоньки мои женщины, я здесь уже упоминала о сыне токаря нашего, у которого бас, как у Шаляпина, был. Тоже одно время пыжился, то в клубе споет, то еще где, по мелочи... А как на фестиваль народный, в райцентр, к понимающему зрителю,— то не его пошлют, а племянника одного из наших партийных секретарей. Тот, хотя не то, чтобы пел, а больше скрипел, но добрался-таки до Новосибирской филармонии, откуда успел даже на кой-каких гастрольках поголосить. Сильно известным не стал, но на теплом месте уютно откантовался, лет до восьмидесяти с гаком, при полном почете. А нашего баса мы все чаще только и слышали, как он вдоль заборов по ночам из кабака домой пробирался. Бывало, внезапно рявкнет:

— И ма-альчики кровавые в глазаххх!..— так сердце в пятки, как в бомбоубежище, рвется... Замерз, бедолага, в хороший мороз по пьяному делу... И вся справедливость. Однако был небольшой период, когда человек с талантом мог прямо от сохи пешком прийти в Москву с котомкой — и стать артистом, инженером, космонавтом, еще кем-нибудь. Надо заметить, некоторые из них, кто сейчас знаменит, быстренько и без излишней благодарности открестились от советского прошлого, хотя именно оно предоставило, конкретно им, такие богатые возможности. В царские, к примеру, времена эти люди ничего не добились бы, сейчас — тем более. Правда, позднее и у нас прибавилось блага, будто плесень выросла. Учила я мою старшую дочь жизни, да, видно, не убедила ни в чем, тянуло ее в «высшее общество» непреодолимо. Помню, какая-то дама, из обучающихся, привела к Маринке в гости Софию Ротару. Певица надарила, с барского плеча, кучу афиш с автографами, кипу контрамарок на ближайшее выступление, даже сыграла и спела модную тогда «Лебединую верность». Маринкин фирменный пирог с капустой очень одобрила, рецепт попросила. И что дальше?.. На концерт, правда, мы всем табором ходили, вшестером,— Маринка со Светланкой, я, Сашка с мужем и дочкой. Билеты были почти недоступны, а у нас места прекрасные, к сцене близко. Го-ордые сидели, как павлины. Я в то во время, с легкой Сашкиной руки, тоже в Москву перебралась, жила в маленькой комнате, пятеро соседей, окна на помойку, но — метро Новослободская!

Однажды Маринка звонит, такая радостная, что дыхания не хватает, аж голос обрывается:

— Мама, меня в Звездный городок пригласили, я на всех нас пропуска заказала, едем послезавтра!

— Опять ты не своим делом занята! — отвечаю.

Однако поехала,— уж так-то любопытно стало! Купила в тамошнем магазине несколько маленьких банок с конфитюром, меду натурального и три литра березового сока — редкий в то время товар. Девчонки, Надюха и Светланка, конечно, музеем заинтересовались, а я все представляла себе, с каким удовольствием они дома вечером чай пить станут — небось конец ноября... В остальном — ничего особенного, маленький закрытый городок, в Сибири мне доводилось в таких бывать. К слову, в Заозерке Сашка после свадьбы несколько месяцев жила...

\* \* \*

...Опять мысли скачут, словно торопятся всю судьбу мою заново перевероршить, как опавшую прошлогоднюю листву, и в Абакан меня возвращают. В год, когда Маринка уехала в Москву, младшая дочь начала учиться на фельдшера. Как было принято, первогодков отправили сначала на целый месяц в колхоз. Там девчонка моя первый и последний раз в жизни проскакала верхом, чудом не свернув себе шею. До сих пор у меня дух захватывает от страха, чем это могло бы обернуться.

Я, конечно, знаю обо всем только со слов дочери, но представляю примерно так:

— Тебя как зовут? — спрашивает местный великовозрастный кавалер, годов двадцати трех, усмехаясь и подмигивая.

— Саша,— доверчиво говорит моя пятнадцатилетняя дочь.

— А на кобыле хочешь прокатиться?

— Нет, я не умею... Ой!..

Парень внезапно подхватывает ее и усаживает верхом.

— Не бойся, она смиренная, сама не пойдет,— уверяет он, оглядываясь на приятелей.

Сашка прибодряется, стараясь устроиться поудобнее, и улыбается в ответ. Вдруг один из шутников швыряет картофелину прямо в лошадь. Та вскидывается, испуганно всхрапывает и в следующий миг уже мчится галопом по свежеперепаханному полю, а девчонка отчаянно кричит, едва не падая и в ужасе цепляясь за гриву... Вдогонку летит drobный хохот парней.

Слава Богу, обошлось, старая лошадь быстро устала и остановилась, но, кажется, от целого месяца колхозной жизни у Сашки в памяти только одна скачка и сохранилась...

\* \* \*

В легкие летние вечера из домов выплескивался весь абаканский люд. Самыми главными выставочными местами были городской парк и аллеики; так мы называли длинную центральную улицу, вдоль которой росли невысокие кустистые деревья — рябины, ранеты, черемуха. Подружки по две, по три прогуливались, хихикая, болтая и моментами перешептываясь, будто делясь невесть какими секретами. Навстречу, тем же манером, но стараясь изобразить серьезность, а то и нарочито хмурясь, шли парни, не удерживаясь, однако, от поглядывания на веселящихся девчонок. Многие, конечно, были между собой знакомы, либо учились вместе, либо жили по соседству. И — начиналось...

— Танька, на танцы в субботу пойдешь? — якобы небрежно спрашивал кто-нибудь.

— Н-ну... если приглашаешь...— хитровато тянула девушка.

— Еще чего!..— возмущался он и тут же говорил:

— Но ты приходи...

На скамейках устраивались бабуся, разглядывали молодежь, смело предсказывали свадьбы и расставания и,— что самое удивительное,— почти всегда метко утыкали палец в небо. Когда за моей Сашкой стал ухаживать Виктор, яркий, цыганистой внешности, парень, младший сын полковника КГБ, старухи дружно приговорили:

— Этот сорви-голова скоро на ней женится, папу-маму не спросясь, а через год разведется.

Не угадали. В июльский вечер к парочке, едва присевшей после очередного танца на лавку, подошел застенчивый светловолосый и сероглазый молодой человек, представился Валерием и пригласил Сашку на следующий вальс.

— Мой брат! — весело отрекомендовал его Виктор.— Прошу любить и жаловать!

Как оказалось, так и вышло. Валерий стал все чаще встречаться с моей дочкой, его родители почувствовали серьезность ситуации. Надо признать, им не понравилась возможность породниться с семьей какой-то школьной учительницы. В масштабах Абакана полковник КГБ был известным и значительным человеком. Жена его гордо носила редкий в те времена титул домохозяйки. Семья жила в собственном доме с садом и имела огромную библиотеку, в составе которой каких только книг ни числилось.

Их два сына очень отличались характерами и внешностью. Старший, Валерий, подобно матери — блондин, но, в отличие от нее, тихий и скромный, так любил читать, что мог открыть любую страницу и тут же забыть, где находится, полностью погрузившись в сюжет. Кстати, эта не слишком удобная черта передалась его дочери Надюхе, моей внучке. Для женщины совершенно негодное свойство. Задолго до женитьбы Валерий получил диплом инженера, будучи старше невесты почти на десять лет.

Виктор, лицом весь в отца, легкомысленный, разбитной и веселый, пропал на улице и в дворовых компаниях, не избегал драк и, без особого сожаления уступив Сашку брату, менял девчонок, как перчатки. Говорили, что он был очень талантлив по художественной части. Я сама не раз видела, как парень на всех доступных поверхностях рисовал карандашом человеческие фигуры в движении, в основном солдат, причем сходу выдумывая их, и у него получалось очень живо и естественно. Однако желания учиться Виктор ни в какой области не проявлял. Помнится, со скрипом, не без помощи отца, окончил Новосибирский институт, стал инженером-железнодорожником, кое-как работал, не выделяясь ничем, кроме разных мелких нарушений, и погиб в тридцать с небольшим лет при обстоятельствах, оставшихся для нас неизвестными. Когда, впоследствии, в разговоре с отцом и матерью случайно упоминался младший сын, она сразу отходила в сторону, будто внезапно вспоминала неоконченное срочное дело, а лицо полковника принимало сухое выражение привычно-благородной скорби, которое не давало разрешения задавать вопросы.

Но, бабоньки мои женщины, на тот момент все шло своим чередом, Валерий сильно прилепился к моей Сашке и настаивал на свадьбе. Родители активно протестовали. Невеста без высшего образования, только с новеньким дипломом фельдшера, им, видите ли, не годилась. Полковница наша имела на примете другую женщину, постарше, врача, знаете ли, терапевта из абаканской поликлиники. Доходило до того, что сын пригласит в гости Сашку, а мать одновременно приведет свою докторшу, затеет с ней какой-нибудь умный разговор о философии или, к примеру, живописи, а Валька, случалось, не утерпит да в спор ввяжется. Падок он был на такие беседы. Но моя, даром что восемнадцать лет, сразу и предложит: — Пойдем, пройдемся по саду, чудный вечер!..

...И ведь уводила его за собой, оставив недовольную родительницу с приунывшей врачихой чай распивать. Когда уж совсем коса на камень нашла, поженились Сашка с Валерием, не сказав его отцу-матери ни слова,— просто отправились одна-

жды в загс и расписались. С ними были Виктор и несколько друзей. Помню, на обратном пути купили ребята бутылку дешевого красного вина, яблок, пришли к нам домой и в одночасье друженько весь напиток уговорили. На закуску сварила я им картошки да две селедки почистила. Потом все по домам разбежались, и молодожен, неловко потоптавшись, тоже ушел. Под нашими окнами Виктор остановился прикурить с приятелем, глядя брату вслед, крепко выразился и добавил:

— Что за дурак! Я бы от такой красивой невесты в первую ночь к мамашинной юбке не побежал!

На другой день их родители узнали обо всем, но тут отец сказал свое веское слово:

— Поженились — ничего не поделаешь. Готовь пироги, мать, а ты, Валька, зови новую родню к нам — знакомиться.

Выделили молодым комнату в доме. Началась для Сашки непростая семейная жизнь. Приняли ее под свой кров, но не в свое сердце. Случалось и так: сию вечером, школьные тетради проверяю, вдруг стучат. Открою дверь — Сашка стоит.

Войдет, дверь за собой закроет — и давай реветь. Гордая была, не хотела соседям так-то показываться.

Говорила, — придут к ним гости, мать в комнату заглянет:

— Валя, выходи к столу, у нас люди.

— На меня, — рыдает дочь, — даже не посмотрит. Ему, конечно, неловко, но он у родителей в полном подчинении, поэтому идет, виновато оглядываясь... Удивляюсь, как рискнул жениться без разрешения!

— Значит, очень тебя полюбил! — стараюсь ее утешить, а самой тоже невесело.

Если я к ним приходила, меня, ничего, пускали, а мамочке моей и дверь, бывало, не откroют. Соберет она для внучки и зятя со своего огорода овощей или яблочек, принесет, на дверную ручку повесит авоську и уходит.

— Саша! — недовольно зовет свекровь, — там ваша бабуся опять гостинцы доставила, забери!

А маме тогда было всего шестьдесят два года. Полковница лет на восемь только моложе.

...К тому времени мамочка, как тетя Зоя, совсем глухая стала, без аппарата обходиться не могла...

Выйдя замуж, Сашка сразу поступила в педагогический институт, не хотелось ей слышать попреки новых родственников, без высшего, мол, образования. Через год, прямо к летней сессии, родила она свою Надюху, потому в дальнейшей учебе пришлось ей нелегко, помощи ни от кого не было. Я сама всю работала, в две школьные смены управлялась. Свекровь, правда, была домохозяйкой, однако помощи не оказывала. Примерно недели за две до появления внучки она зашла в комнату молодых, оглядела невестку и, недовольно покачав головой, сообщила:

— Я маленьких не люблю, и с младенцем водиться не буду!

— А разве мы вас просили об этом? — сказала Сашка, оторвавшись от учебника.

— Предупреждаю заранее!

И, поблескивая дорогим атласным халатом — недавним подарком мужа — величественно прошествовала на кухню.

Ребенок родился за полмесяца до первого экзамена. Сашка ходила по комнате из угла в угол, на одной руке качивая звонкоголосую малютку, в другой, машинально повторяя те же ритмичные движения, держала конспект или книгу, вслух заучивала текст и формулы. Экзамены были сданы отлично.

Знаете ли, бабоньки мои женщины, впоследствии она оказалась единственной невесткой в этой семье, которая имела высшее образование. Младший, Виктор женился дважды, первая его жена закончила восьмилетку и работала в привокзальном

буфете, а вторая могла похвастать дипломом маляра-штукатура. Правда, каждая отличалась бойким характером, и к ним предъявлялось гораздо меньше претензий... Пока они, по очереди, оставались в семье, недовольство высказывалось только шепотом и за спиной. Вышло так, что на долю моей Сашки изначально выпали все шишки, заготовленные для всех возможных неугодных снох...

\* \* \*

...В шестьдесят шестом осталась я в Абакане одна. Мама и Николай Ефимович перебрались в Новосибирск, поближе к Тамаре. Дочка тети Зои, получив диплом учителя географии, уехала к матери в Серпухов, где очень скоро вышла замуж.

Мои сваты по долгу службы были переведены в Красноярск, но до отъезда полковник успел похлопотать, и вскоре его сын с женой и маленькой Надюшей отправились на жительство в Кострому, где Валерию предложили должность директора профтехучилища на самой окраине города. Поселили их в небольшом служебном помещении на первом этаже того же здания. Несколько лет они там прожили. Правда, в первый класс моя внучка пошла уже из удобной двухкомнатной квартиры, в хорошем доме вполне обжитого района.

Помнится, Кострома тогда была разделена Волгой на две части — старый город и новостройки. Моста еще не существовало. Летом берега соединял пароходик, неутомимо бегавший туда и обратно с самого рассвета до соловьиного хора. Березовая роща гремела по ночам восторженным птичьим гимном.

Зимой отчаянные души, не желавшие сидеть дома, как в берлоге, до тепла, перебирались с одного берега на другой по ледяному покрову реки — несколько километров. Мои тоже частенько рисковали, по молодости лет, и собой, и даже своей Надюхой, чтобы в воскресенье прогуляться по городскому центру. Случалось, пока они так-то развлекались, вдоль Волги пускали ледокол, как напоминание о ненадежности и опасности этого пути, и домой приходилось возвращаться, прыгая по качающимся льдинам, кое-как соединенным длинными досками,— только вот лужи были чересчур глубоки!

Не однажды сообщалось и о несчастных случаях, однако человеческий поток не иссякал. Ругала я своих за это, да когда молодежь к советам прислушивалась?

Бог миловал нас, однако.

Вскоре построили мост, и давно уже в старый город можно попасть за несколько минут — на автобусе. Без риска и в любом сезоне.

Кострому Сашка не полюбила. Сперва скучала по Абакану. Ездил к сестре в Москву, и загорелось ей перебраться в столицу. Дело по тем временам было трудное, почти невозможное,— потому, наверное, это ей и удалось. Сашка упрямая и целеустремленная, я уж говорила, что меня она потом тоже сюда перевезла, сначала в коммунальную комнату, а после мы ее сменяли на хорошую квартирку под Подольском — ту самую, где ноги мои два года назад ходить разучились... Сознаюсь, после Москвы не сразу мне удалось оценить удобство и покой нового жилья...

...Маринкина Светлана к новому времени приспособилась быстрее, недаром в свое время окончила университет, по юридической части. Вдвоем с бывшей однокурсницей открыли собственную адвокатскую контору, живут-поживают, по заграницам разъезжают. С нами почти не общается, другого теперь поля ягода, хоть муж — рядовой врач на «скорой». Сына платно учит на тележурналиста.

Но поухаживать за мной приходит, если необходимо подменить Сашку и девчонок.

...Однако до этого я еще долго, много лет, жила в Абакане. Конечно, после отъезда родных из города я ощутила и некоторую пустоту, и одиночество, хотя у меня было множество друзей и знакомых. С сентября по июнь вся уходила в школьную работу, по вечерам вела математический кружок, много занималась с отстающими учениками.

Домой тащила проверять пачки детских тетрадей, чтобы не успевать тосковать по своим. Долго не могла привыкнуть к невозможности в любой момент увидеться с мамой или дочерью, потискать внучку. Тем временем обо мне, как о заслуженной учительнице, напечатали статью в местной газете, и я, наконец, получила первую полноценную квартиру, однокомнатную, на самом верху кирпичного, очень подержанного, пятиэтажного дома. Телефона у меня не было, тогда номер мало кому выделяли, очереди ждали годами. Зима, конечно, объяснила мне, что при центральном отоплении валенки с успехом можно применять в качестве домашних тапок, а старое пальто иногда удобнее фланелевого халата, но зато у меня был балкон. Однажды он спас мне жизнь.

Как-то в субботу я, засидевшись за проверкой контрольной работы, легла спать особенно поздно, около середины ночи, утешая себя тем, что завтра выходной. Задремала быстро, но чутко и беспокойно. Мгновенно очнулась, когда у самой двери в квартиру услышала странную возню. Раздался стук.

— Кто там? — нерешительно спросила я, подойдя ближе.

— Открывай! — просипел свирепый, но приглушенный голос. — Не тяни, все одно убую.

Дверь содрогнулась от крепкого толчка. В замке противно, с металлическим дребезгом заскреблось, — его явно пытались открыть. Однако не получалось. Простуженный сип издал несколько нецензурных звукосочетаний. Я бросилась на балкон, как была, в ночной рубашке, а на улице тихо, ни живой души, только мороз густо настоян! Кричу:

— Помогите, кто-нибудь, в квартиру ломаются!

Как чудо! — из-за соседнего дома выбегает мужчина, глядит на меня снизу вверх:

— Вы звали? — спрашивает.

— Да, да!

— Держитесь, я сейчас! — и рванул в наш подъезд.

Кодов тогда не было. Только чуть прошло времени, — слышу, за моей дверью борьба идет, двое, тяжело дыша и бранясь, по площадке кубарем катаются. Замерла, наверно, и не дышала почти.

— Да ты с ножом, подлюга! — голос моего защитника...

Скрутил-таки бандита этот человек. Разбуженные соседи помогли. А тот, действительно, сбежавшим из тюрьмы убийцей оказался. Днем, как выяснилось позже, он покрутился во дворе, узнал, — мол, я живу одна, и решил отсидеться несколько дней в моей квартире, предварительно избавившись от хозяйки. Ему в голову не пришло, что учительницы хватятся быстро. Повезло мне тогда, что с поздней смены водитель автобуса шел домой да на мой крик прибежал...

\* \* \*

...Конец мая шестьдесят девятого года, теплые, солнечно-радостные дни. Повернув лицо навстречу открытому окну, готовлю задачи к экзамену по геометрии для моих восьмиклассников. Где-то на заднем плане бродят в голове пьянящие мысли о скором отпуске и, значит, возможности съездить к дочкам. В последний весенний вечер я ложилась спать усталая, но в прекрасном настроении. А наутро, услышав крики людей, подошла к окну, — и взяла меня оторопь: по городу неслись мутные потоки заблудившейся воды. Часть волн, будто нехотя, толчками вливалась в окна первого этажа. Серый кот, серьезный и сосредоточенный, доплыл до дерева и стремительно вознесся на самую крону. Покачивались плоскодонки, в которых люди пытались спасти себя и других, какие-то вещи. Где-то недалеко истерично визжала женщина. Бархталась пятнистая собачонка — и прерывисто вскрикивала, когда ей

удавалось вздохнуть, отфыркнувшись от воды. Она утонула у меня на глазах, никто не успел обратить на нее внимание. Мужик в распахнутой телогрейке, на плотике, углядел бедолагу в последний момент, дернулся было на помощь, да не успел. Дрогнула скулой, нахмурился, отвернулся. Помню, после этого эпизода я погрузилась в какую-то странную прострацию, ощущение нереальности событий, воспринимая все, как в отчетливом сне. Мне повезло, до пятого этажа вода не доходила, она, собственно, и до второго почти не поднималась, но мы на время оказались взаперти. По радио и телевидению передавали живые новости, нас успокаивали, убеждали не паниковать и оставаться на безопасных местах. Мимо окон и домов плыли люди, целые семьи, с детишками, с мелкими животными в лодках, на плотках. Было до жути странно, общая взволнованная сосредоточенность напомнила войну.

Женщина моего примерно возраста вытащила на крышу деревянного низенького дома мужскую ушанку с кошкой и котенком, сидела, покачивая их, как младенца. Живность вела себя на удивление смиренно.

Девушки лет восемнадцати слегка кокетничали с парнями, устроившись напротив на соседних скатах. Иногда они ухитрялись перебираться друг к другу, называя это «хождением в гости». После, осенью, игралось особенно много свадеб по всему Абакану. Шутили, что с крыши, мол, виднее, на ком надо жениться....

...Всюду сновали служебные катера, передавая людям хлеб, горячие щи или компот. Любопытные дошколята и подростки подолгу торчали на подоконниках, вертя головами, взбудораженные необычностью ситуации. Общее настроение отличалось избыточным оживлением, даже в каком-то смысле веселостью. Рокотали спасательные вертолеты. Организовано было все быстро и четко, не помню, чтобы кто-то серьезно пострадал, кроме животных, но многие потом заново обзаводились мебелью и хозяйством. Помогали друг другу, как-то тепло, душевно было... Но ту собачонку, утонувшую в момент, когда мне вдруг довелось узнать о стихии, выглянув в окно, я за все мои долгие, переполненные событиями годы, забыть не смогла...

\* \* \*

— Мама,— зовет меня сегодняшняя Сашка. Лицо у нее строгое и озабоченное очень,— давай, я врача вызову. Ты уж пару недель толком не ешь, тебя все тошнит, и даже белки глаз у тебя совсем желтые стали. Печень проверить надо...

— Как хочешь...— вдруг устало отвечаю я и с головой закрываюсь одеялом. Она торопливо одевается и уходит в поликлинику на переговоры с врачом... Жду.

Страшно мне. Перебираю годы свои, считаю горести и радости, да счет неровен. Не привыкли мы к счастью, то от одной войны, то от другой из пепла возрождались.

В глазах картинки воспоминаний замелькали вдруг с необычайной скоростью. Снова я бегу за полторкой, навсегда увозящей папочку, и слышу его слова, оборвавшиеся за поворотом дороги:

— Ниночка, ты только учись!

Опять мчусь через ночь от волков, припав к саням, доверившись испуганной лошади.

Снова отчаянно терзаюсь мужниной изменой, а потом бьюсь, как рыба об лед, чтобы двух дочек на ноги поставить.

Опять, себя не помня, давлю из пустой груди молоко, спасая умирающего ребенка. И еще одно снова, и еще...

Почему во все времена у человека столько горя? Проблема нашего недавнего прошлого, по-моему, в том, что стремились к счастью общности, упорно и жестко забывая о каждом в отдельности. Однако человека воспитать сумели, оттого и в войне победили, и после страну восстановили, и я в этой гуще варилась, все видела, во

всем участвовала, свой труд и свои слезы к делу приложила. Будьте же объективны — и благодарны! Есть, за что. Такое мое вам предсмертное слово...

...А год идет, шутка сказать — две тысячи десятый!..

\* \* \*

Вторую неделю догораю в больнице. Беспольное окно настезь, за ним так же тлеет немилосердная жара, от которой все во мне спеклось. Боль нудно-постоянна, уколы не помогают, должно быть, из экономии колют обманки,— к чему, мол, тратить на помирающую старуху...

Сашка приезжает через день, пытается соблазнить фруктами, соком, а душа у меня перестала все это принимать. Привлекает меня только очень холодная вода и — по глоточку — огуречный рассол. Дочка, оботри меня, дышать тяжело-о!.. Вот, так-то легче... Что с прогнозом погоды — дождя, грозы не обещают? Градус какой — опять тридцать четыре?..

Раза два Сашка брала с собой Олеську. Та показывала мне альбом с рисунками, набросками, все городские виды. Отвлеклась от болячек, смотрела с интересом... Художница наша... Хорошо!

Остальное время суетятся вокруг, хотят помочь, а беспомощно как-то, да и ни к чему...

...Сегодня был странный день. Утром Сашка пришла, увидела, что у меня постель несвежая, теребила медсестер, заставила переменить, они не хотели никак. Лежу, наслаждаюсь,— чистое белье попрохладнее, хоть и ненадолго.

Заехала внучка Светлана, покойной Маринки дочь, редкая гостья, привезла сына, говорила о ремонте, который затеяла, о работе мужа. После нее появилась Надюха, долго сидела, поглаживала мне руку, рассказывала новости,— да я только слушала голоса их всех, запоминала. Она прихватила с собой Олеську, и мне хорошо было поочередно смотреть на них, пока не устала...

...Сейчас ночь, в окно скудно сочится душная, медлительная прохлада. Э-эх, бабоньки мои женщины, нельзя мешать человеку — жить, любить, стремиться к своему призванию, кто бы ни делал это и с какой угодно целью... Кажется, и я в этом провинилась?.. Жаль мою старшую... всех, всех жаль!..

...Боль тягуче колышется внутри, то нарастая, то прячась куда-то. Сопроtestляюсь, стараюсь думать не о ней, а о богатом визитами сегодняшнем дне. Нет, сдаюсь — больше нет сил, слышу свои стоны, как чужие, со стороны. Перестаю понимать, где я и что происходит. Еще темно, когда успокаиваюсь и лежу неподвижно. Рассвета уже не воспринимаю, но успеваю услышать, как утренняя медсестра зовет ко мне врача, который затихающим голосом произносит свой вердикт. Напоследок возникает слабое, короткое ощущение привкуса огуречного рассола...

...Не чувствую и не запоминаю слез растерявшейся Сашки на отпевании в больничной часовне. Мне неизвестно, как устраивает мои проводы Надюха, и я не могу распознать цвет, в который они с Олеськой красят оградку могилы. Проходит год, но теперь и это меня оставляет в неведении. Не знаю также, что дочь, внучка и правнучка довольно часто здесь бывают, и вместе, и порознь. Глазами раскрашенной фотографии смотрю им вслед с памятника и еще долго вижу знакомые силуэты, медленно удаляющиеся вдоль дорожки кладбища. Постепенно их настроение переходит из меланхолично-печального в житейски-оживленное, тема разговора неотвратимо меняется и, выходя за ворота, они не оглядываются больше назад, а уже активно обсуждают свои бытовые проблемы.

